
ИВАН ЧЕНДЕЙ
СКАЗКА
БЕЛОГО
ИНЕЯ

ИВАН ЧЕНДЕЙ

СКАЗКА • БЕЛОГО • ИНЕЯ

ПОВЕСТИ

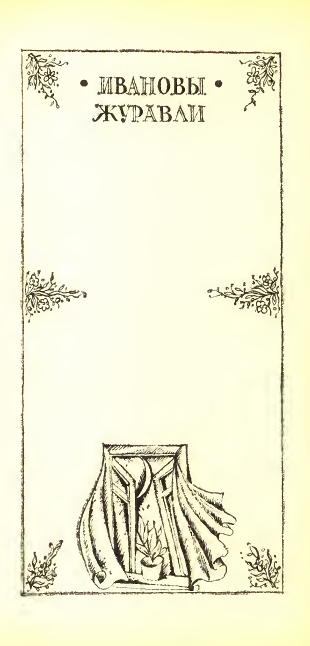
ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1984

84Ук7
Ч—43

Ч $\frac{4702590200-139}{078(02)-84}$ 111—84


• ИВАНОВЫ •
ЖУРАВЛИ



Памяти тестя Ивана

I

Приземистый автомобиль с красным крестом в белом кольце холодно сверкал фарами, попыхивая кудрявыми облачками газа над голым асфальтом, а из больничного корпуса выносили деда Ивана.

Игриво искрился снег в пропеченном морозом воздухе, ослепляя больного, и он невольно зажмурился — с непривычки покалывало в глазах.

Деревья, росшие вдоль аллей и вокруг лужаек внутреннего сада-парка, под снегом казались ему волшебно диковинными, и не только потому, что дед Иван смотрел на них, лежа на спине, но и потому, что последний раз он видел их еще в те дни, когда жена Олена, пригорюнившись, собирала его в дорогу, и потом, когда дети везли его в город. Тогда кроны лишь кое-где покропило золотом, сам он ложился в больницу, чтобы подлечиться, и до осенней слякоти с ее дождями, злыми ветрами и обильным листопадом было ой-ой как далеко... И получилось для деда Ивана как бы из лета в зиму.

«Божс! Сколько времени прошло!.. И хоть бы какая польза...» — думал больной.

Пока он выходил на прогулки — врач распорядился, чтобы дед Иван гулял, — то между каменными зданиями корпусов видел желтеющую листву на кустах и деревьях, а по обочинам асфальтовых дорожек замечал жалкую травку... Каких только лекарств не прописывали ему врачи, как только не ухаживали за ним сестры, дед Иван терял силы, томился, и было ему уже не до осени...

Он глубоко вдохнул воздух, и мир внезапно предстал перед ним иным — без лекарств и запаха больничной еды, к которой он так и не смог привыкнуть, без того смрада, который упорно держится в

палатах, где лежат пожилые и тяжелобольные люди.

Все как будто шло вскачь.

Не успел дед Иван осмотреться, как блеснула, взметнувшись вверх, никелированная ручка задней дверцы, две краснощекие санитарки легко подняли носилки, он ощутил под собой колесики, которые покатили его в машину, — такого ему еще никогда в жизни не выпадало.

Вмиг все исчезло — белый снег, голые деревья, кусты на полянках, даже большие больничные корпуса. Медсестра заботливо укрыла его еще сохранявшим тепло одеялом. И ему пришло на ум, что так, наверно, пеленают лишь младенца — крохотное беспомощное создание, которое ничего не знает, не понимает и помочь себе может разве что криком. И невыразимая тоска сжала сердце при мысли, что для него настала новая пора пеленания. Он уже знал, что это та злая пора, когда все не начинается, а кончается.

Из глаз его невольно покатились тихие-тихие слезы. Они словно и не наплывали ниоткуда, и ничто в нем не отзывалось болью, но на щеках стыли холодные полоски.

— Ну-ну! Что это вы, батько Иван!.. — с упреком проговорила медсестра и, вынув большой белый платок, торопливо вытерла ему лицо.

Горестно сжатые губы больного пошевелились, точно он хотел ласково улыбнуться. Но улыбки не получилось. В глазах была печаль.

— Помните, что сказал завотделением? Не падать духом, надеяться и верить!.. Родной дом принесет вам счастье!.. В больнице вы и впрямь залежались, а дома, говорят, и стены помогают. Будете питаться, как привыкли, поживете в тепле и уюте, глядишь, здоровье и вернется.

У больного опять заблестели на глазах слезы, хотя он не проронил ни слова.

— Чтоб я больше этого не видела, батько Иван! — притворно сердилась сестра. И вела свое: — А потом можно будет снова взять вас на повторный курс. — Медсестра пыталась утешить деда Ивана, хотя она отлично знала и понимала, какая у него болезнь. Сколько таких больных прошли через ее руки, почувствовали на себе ее заботу...

Дед Иван молчал.

Дедом его можно было назвать разве лишь потому, что он двух дочек выдал замуж, старшего сына женил, имел как-никак несколько внуков. И, выходит, законно и по праву мог называться дедом.

Волосы его не брала седина — слегка только посеребрились виски. У него были молодцевато подстриженные густые усики, всегда он был тщательно выбрит, ходил бодрым, энергичным шагом, даром что опирался на палку с оленьим рогом и заметно прихрамывал — на целых два сантиметра укоротили деду Ивану левую ногу после ранения в первую мировую...

Что бы он ни делал, за какую бы работу ни брался, все в его руках так и горело. Наверно, трудовые будни, жизнь в постоянных хлопотах и заботах, ночи, которые он недосыпал, дни, которые кончались очень поздно, не оставляли ему времени для старения.

Пока машина мчалась по городским булыжным мостовым, его потряхивало. Но как только шофер осторожно преодолел железнодорожный переезд, машина покатила легко и плавно. Теперь покачивало так приятно, что можно было бы и уснуть. Но нет! Дед Иван силился что-нибудь увидеть за занавешенным окном, однако не обнаружил ни единой щелочки. Занавески, видно, повесили для того, чтобы больных не раздражало мелькание домов и деревьев за окном, а может быть, для того, чтобы прохожие не знали, кого везут.

Дед Иван вперил взгляд в белый-белый потолок с выпуклым овальным светильником посредине.

Собираясь в путь, он знал: ни здоровым, ни хворым в больничную палату ему уж не вернуться, последний раз окидывает взглядом это небольшое помещение, в котором остаются пятеро больных. В глазах товарищей по палате он ловил грусть прощания, хотя кое-кто пытался его ободрить и не очень удачно шутил насчет домашних картофельных дерунов и пшеничных блинчиков.

Медсестра, вся в белом, съежившись, примостилась у него в изголовье и тоже укутала себе ноги одеялом, чтобы не простудиться.

Дорога была хорошая. Машина быстро миновала два пригородных села и теперь медленно карабкалась в гору. Дед Иван понял, что они едут по высокому Лазскому берегу, он тянется далеко-далеко по равни-

не и отрогам Карпат, и отсюда открывается безоглядная ширь.

Будь он здоров да окажись шофер своим парнем, обязательно попросил бы хоть на минутку остановиться на самом верху. Коли уж не выбраться наружу, полюбовался бы он из окна этими чудными окрестностями...

А так... Он живо представил себе, как красив Лазский берег снежной зимой, под притихшим небом, на фоне затянутого дымкой горизонта.

За свой век он в разное время года и при всякой погоде исходил немало дорог — длинных и коротких, легких и многотрудных, печальных и веселых. Потому что, если предстояло ему отправиться в путь-дорогу, дед Иван никогда не откладывал поездку на потом, дескать, может, как-нибудь обойдется. Он любил дороги, чуял в них тайну движения и открытия, а значит, и радость. Хотя, правду сказать, далеко не всегда дорога приносила ему только радость.

Та, по которой машина везла его сейчас, была совсем непохожа на прежние. По такой дороге деду Ивану ездить еще не приходилось.

Вдруг на истерзанное болезнью тело будто повеяло теплом, и дед Иван сам себе улыбнулся. Мысленно он был уже далеко-далеко отсюда и держал в руках ременные вожжи, погоняя хорошо откормленных молодых лошадок. Звонкий цокот копыт по мостовой, тарахтение телеги, поскрипывание рессор под дородной хозяйкой, сидящей справа от него... А слева дочка Марийка.

«Господи!.. Не успела набегаться да волей натешиться, как уж в городскую школу пошла... А в городе годы побежали один за другим — только успевай оглядываться!.. А тут и женихи... Судьба, ничего не поделаешь, надобно на свои крылья опираться. Как птахе!..» И словно не дед Иван, а батько Иван опять и опять переживает тот врезавшийся в память августовский день, когда он незаметно для жены то и дело поглядывал в сторону младшей дочери, которую вез в город, — там служил ее муж.

Опять и опять... Как хотелось ему прогнать с милого круглого лица дочери тень тревоги и беспокойства! Разлука с родным гнездом, такая закономерная и неизбежная, напоминала дальний перелет птиц, который

всегда таит в себе неизвестность, загадку — впереди далекие неведомые горизонты...

И вот он сидит на телеге, и ему не по себе, никогда еще он не испытывал такого чувства... А ведь он многое изведал. Щемящая боль, он знает, что эта боль пройдет и тоска минет. Ведь не бывает ничего такого, чего еще никогда не было. Это с ним, с его дочкой Марийкой, с его женой нынче творится такое, чего до сих пор не знали не ведали в их семье.

Он косится на жену. На ее лице тоже озабоченность и грусть. Наверно, это от чувства неопределенности. Хотя человек, избранный дочерью в мужья, кажется им если не самым лучшим на свете, то уж, во всяком случае, и не самым худшим.

Что поделаешь? Сколько парней уложила война в мать-сыру землю... Коли этот пошел с дочкой под венец, значит, он и был ее суженым! Да и что тут думать-гадать, ежели дело сделано. Сыграли свадьбу, везут Марийку к молодому мужу...

Он дергает поводья и помахивает кнутом, но не для того, чтобы причинить лошадям боль. Хочет дать понять, что нужно поспешить: до города путь не близкий, да и воротиться надобно нынче же. Он словно сам от себя старается убежать. И надеется, что ему это удастся, если они будут ехать быстрее...

Их трое на телеге, и у каждого свой мир, и все-таки у всех троих этот мир один. Потому что их неповседневные тревоги и думы, не до конца осмысленные, порой даже не осознанные, но реально существующие, передаются от одного к другому. А он не только видел в жизни больше жены и детей, но и знает жизнь лучше, чем они, и потому считает, что на нем лежит ответственность за семью — так было в прошлом, так в настоящем и будущем.

«Пташечки мои дорогие, ненаглядные! Отчего присмирели да пригорюнились? Какие думы не дают вам покоя, почему не улыбаетесь мне, не щебечете? Доченька моя золотая, щебетунья моя милая! Отчего молчишь, слова ласкового мне не скажешь?»

Дорога убаюкивает деда Ивана, но мысли, борясь со сном, приходят четкие, ясные, ведь он сам себе хозяин на этом долгом пути, он правит лошадьми, везет двух женщин и ни на минуту не прекращает с ними разговор.

«Я б тебя под крылом своим лелеял да голубил, ни-

когда в широкий мир не отпустил бы... Да такой уж порядок заведен от Адама — прародителя нашего: всякое живое существо должно найти себе пару! Рыба — в воде, птица и зверь — в лесу, человек — на земле... Пусть же тебе, дочка милая, улыбнется счастье за порогом нашей хаты, пусть к нам только радостные вести доходят... И тогда все мы будем счастливы!..»

Дорога все-таки потихоньку убаюкивает его.

Но он еще борется со сном, еще разговаривает со своей дочкой Марийкой, со своим зятем, с внуками... Возвращается в больничную палату, где остались его товарищи по недугам и болезням, в ту палату, куда не просто забегала, а будто солнечный свет с собой вносила медсестра, сопровождающая его теперь домой... И снова чудится, словно он едет не в машине с красным крестом, а сидит на телеге, правит лошадьми и нижет-нанизывает отцовские свои радостные и тревожные мысли.

В конце концов сон одолевает его.

Ему снится дубрава на пологих склонах-бережках неподалеку от села. Тихий вечер, резвясь, колышет кроны дубов-исполинов, которые тянутся к самому небу. Он, мальчик, лежит на спине и видит, как переплетающиеся вверху ветви исчертили лазурь. Смотрит, смотрит на плывущие в вышине облака, и ему вдруг начинает казаться, что это не облака, а он сам мчится куда-то вместе с землей.

Первый сон сменяется другим. Дубраву вырубили, землю, где она росла, поделили между крестьянами. Ему тоже достался надел. На солнечной стороне, на отлогом склоне. Только мечтать можно о таком участке.

Иван сжигает хворост, очищает землю от камней, в поте лица выкорчевывает пни. Поднимает почву «на четыре заступа», чтобы посадить виноград.

Весеннее солнце щедро греет, семь потов сходит с Ивана, но ему легко. Никогда еще ему не было так легко!

Веет тихий ветерок, помогает в работе, как добрый брат...

Хозяин приставил ладонь к глазам, смотрит на дорогу. Во-он девочка идет — издалека видна красная сорочка. Это она, маленькая Маричка, поесть ему несет!..

Вот он гладит дочку по голове, и ему делается так легко, будто и не работал тяжко.

Завтракает.

А девочка берет старое железное ведро и собирает в него камешки. Не нарадуется отец! Работящей дочка выросла! Так, так, пусть привыкает к земле, пусть полюбит землю!

Он подставляет лицо теплому солнышку и вдруг точно проваливается куда-то от переутомления. А просыпается, глядь, дочка уже много-много камней насобирала.

— Помощница моя дорогая! Беги к колодцу, принеси воды!

И Марийка приносит ее в маленьком жбане. Он пьет чистую студеную воду и ощущает прилив свежих сил. И счастлив, как никто в целом мире. Здесь его мечта — кучки земли и колышки, а в каждой кучке саженец винограда. Росток виноградной лозы томится в земле до тех пор, пока не вытянется вверх. Хозяин знает, что в кучках земли, которые он тут сгреб, великая тайна не только почвы, но и солнца, и дождей, и ласковых теплых ветров, он знает, что тут заключено диво дивное, сладкое да хмельное, и пошло это диво от него, и не только от его жестких рук, но и от его разума земледельца.

Он наклоняется, мнет землю, пропускает ее между пальцами — ну словно пеленает каждый саженец. А как же иначе? Оставишь его наверху — спалит солнце, сломает ветер! Ой-ой, сколько еще дней пройдет, пока земля выпустит виноградную лозу на волю, чтоб закалялась.

Это окутывание саженца — не что иное, как пеленание ребенка. Неважно, что проросшие виноградные лозинки укрывают мягкой пушистой землей, а младенца заворачивают в пеленки! И ребенок, и виноградная лоза одинаково нуждаются в любви...

Первый цвет. Первая завязь. Первая гроздь... Все приходит к нему большим праздником после долгих-долгих будней. И в этом не только его утверждение на земле, ему кажется, что он возвышается над землей великаном. В цвете и завязи, в сладких гроздьях есть что-то общее, родное с его детьми, особенно с Маричкой, зря он сказал, что лучше бы у него пропали волы, лишь бы вместо девочки родился мальчик. Горькими слезами умылась тогда ее мать!..

Теперь-то он уже знает: пока будут цвести посаженные им деревья, пока будет наливаться гроздьями выпестованный им виноградник, пока на земле будут жить его дети, его внуки и правнуки, до тех пор будет жить и он.

...Тихий ветер веет. Покой и мир заключают деда Ивана в объятия, нежат его, точно знают: он заслужил отдых всей своей честной жизнью.

Едва машина свернула с главной дороги на обочину и медленно приблизилась к Иванову двору, как больной открыл глаза. Жадно смотрел он вокруг, словно все хотел обнять взором.

Жена Олена прильнула к нему и погладила его рукой по щекам, по лбу, а сердце у нее болело все сильнее. Иван очень осунулся, похудел, лишь черные усики топорщились еще задорнее, будто именно в них таились его удаль и пренебрежение ко всяким хворям.

Волосы у Ивана были такие же черные, как раньше, и аккуратно зачесаны набок. И держался он в своей усадьбе с достоинством хозяина — несколько утомленно, но с присущей случаю торжественностью, даром что был измучен болями. Строго глянул на жену, заметив, что она готова дать волю отчаянию и пустить слезу. Олена хорошо знала этот взгляд, она тотчас взяла себя в руки.

— Да нет, нет!.. Ты только немного ослаб... Дома придешь в себя...

Ивана внесли в теплую хату и уложили на белую постель. С минуту он молча обводил взглядом комнату, затем смежил веки, и Олене на миг почудилось самое страшное, ее так и бросило в жар.

Она подала ему теплое молоко — горшочек стоял на краю плиты.

— Выпей, голубчик!.. И уснешь спокойно...

Он приник дрожащими губами к горшочку и раза три глотнул. Во рту распространился вкус горечи, и больше он не мог пить, хотя жена пыталась вливать ему молоко в рот ложкой.

Он отклонил голову, чтоб она не настаивала.

Знакомые запахи родного дома и чистого постельного белья, радость оттого, что опять видит в окне грушу и виноградный куст с длинными спутанными ветвями, опьянили его, и он уснул.

II

— Деда Ивана привезли домой помирать!

— У деда Ивана белая кровь!..

Волнами катились по селу эти вести. И не было среди людей равнодушных.

Одних это изумляло: не могли вспомнить, чтобы Иван когда-нибудь хворал или вообще жаловался на здоровье. Просто невозможно было себе представить, что придет время и дед Иван заболеет. Хотя, конечно, никто не сомневался, что у всего живого на земле есть свое начало и свой конец.

Другие совсем недавно видели Ивана в селе. Наверно, шел куда-то по мастерству: за спиной из рюкзака торчал маленький топор, которым он пользовался для набивания обручей, под мышкой нес завернутую в газету ножовку.

Каждая четвертая хата в селе крыта руками деда Ивана. Бывало, на улице еще народу-то, почитай, нет, а он уж топором постукивает, пилой позванивает, вымеряет что-то складным метром, гвозди вбивает.

Про все на свете забывал дед Иван, когда делал кровли в хатах и больших домах. Немало односельчан переняли у него плотничье мастерство. И все-таки, если человек хотел, чтобы крыша на его новой хате была красива и служила многие годы, он приглашал на работу только деда Ивана. И по всей округе, по десяткам сел шла слава о мастере.

Случалось, хозяин долго ждал, пока Иван управится с предыдущим подрядом и примется за его работу.

Идут люди к деду Ивану, идут к его хозяйке Олене... Много народу приходит.

— Что у вас, тезка, сильнее всего болит, что больше всего беспокоит? — присаживается подле хозяина старинный друг его Петричко. Наклоняется вперед, вытягивает правую руку ладонью вверх, словно хочет забрать немного боли, чтобы деду Ивану полегчало.

— Эх, да что говорить, брат Иван!.. — вздыхает больной. — Порой так жжет внутри, так печет, ну будто кто углей накидал да огонь развел...

— А во рту?

— А во рту горечь и сушь, вроде как горячим ветром высушило... — Точно из глубокой пропасти добы-

вает Иван слова, речь его тянется с трудом, говорить больно.

— А бывает, чтоб хоть ненадолго отпустило? — Иван Петричко никак не может взять в толк, какая такая болезнь точит и поедом ест тезку.

Больной опускает руку, словно безжизненный камень, а не живой человеческий кулак повисает над полом. Затем дед Иван выпрямляет указательный палец и тычет им в землю.

— Там мне полегчает, там отпустит, брат Иван!..

И тут Петричко начинает понимать, какая тяжелая и опасная болезнь у его друга, и умолкает. Хотел было утешить больного: дескать, все мы, тезка, там будет. Но сообразил, что это не утешение, говорить сейчас такое не подобает, и замолчал, глядя на устремленный в землю палец Ивана.

Молчание это было хуже всяких слов. Петричко медленно провел ладонью по лбу. И, совладав с собой, спросил:

— Вставать можете?..

— Могу... Коли встану, а муха на меня сядет, на ногах не удержусь... — Дед Иван берется рукой за край кровати. Дерево приятно холодит ладонь, и дышать становится легче.

Входят еще друзья. Здороваются, кряхтят, покашливают — все в летах, все скорее могут пожаловаться на слабость, нежели похвастаться силой.

Дед Иван с грустью и благодарностью смотрит на своих побратимов, которые пришли навестить хворого, посидеть с ним, как издавна ведется среди добрых людей по неписаному закону и обычаю. А сказать по правде, хоть и горька она, эта правда, друзья, сваты и кумовья, близкие соседи потому так тщательно побрились, собираясь к деду Ивану, потому надели белые рубахи и облачились в лучшую свою одежду, что хотели попрощаться с ним, пока он жив. Знали, что, если Ивану случалось навещать тяжелобольного, он одевался как на праздник. Оказывал человеку почет и уважение своим опрятным и пристойным видом...

В ногах у деда Ивана на невысокой покрайнице * сидит, поглядывая на него, Турянчик — ровесник хозяина. Турянчик худ лицом, долговяз. Ухватившись за пуговицу на пиджаке, он незаметно для себя крутит

* Удлиненный край кровати.

ее. Вид Ивана не радует, не веселит, и Турянчик уже размышляет о том, кто весной покроет хату его женатому сыну, вся надежда была на мастера Ивана.

— Надо, Иван, драться с хворобами, надо так хватить болезнью оземь, чтоб только гул да звон пошел!.. А то кто же, коли не ты, моему Петру кровлю поднимет?.. Дерево мы уже припасли, и по размеру, и по толщине все, как ты сказал! — Турянчик бодрится, но пуговицы из рук не выпускает.

— Эх, кум Иван, в этом деле хозяин не я!.. А кровлю на хату своему Петру позовите вязать Юрко Винтая... Он сделает по моей науке, быстро и прочно, дорогой материал зря переводить не станет!.. — советует куму дед Иван и, пока говорит, чувствует себя бодрее и увереннее.

— Э нет, нет! Мы только на тебя надеемся! — протестует Турянчик.

Иван молчит. Горькая улыбка холодным светом освещает его лицо и тотчас гаснет.

Понуро сидит Степан Желизко. Смотрит, слушает, а сам между тем думает свою думу. Месяца еще нет, как он выписался из мукачевской больницы. Если Ивану об этом дома не рассказали, он и не знает. Прошел Степан через сомнения и страхи, через боли и муки. Готовили его к операции, но он отказался. Коли смерть рядом, что ж, пусть замахивается косой, а тело резать ни к чему. Внутри у него печет ясным днем и темной ночью, есть чем поделиться с мастером Иваном. Но разве можно с больным говорить о немощах? Это надо иметь в груди не сердце, а камень. У Ивана и своих недугов хоть отбавляй.

— А помните, Иван, как мы, еще в парнях, гоняли лошадей на выпас? У вас были кони серые с черными гривами, а у нас красные с белыми пятнами на лбу!.. — говорит Степан, надеясь воротить Ивана в далекую пору юности, полную веселых происшествий и неожиданностей.

Иван приподнимается на руках, словно так ему легче пускаться в странствия по тем годам, которые вспомнил Желизко. Олена вскакивает и предусмотрительно подкладывает больному за спину подушку, чтоб ему было удобнее сидеть.

— Как мы лошадей пасли, забыл начисто. А вот как из чужих палисков * таскали рыбу и жарили ее

* Верша для ловли рыбы.

на вертеле, это еще помню!.. — Иван оживляется: приятно, что Степан ведет его в то далекое лето, когда они по ночам гнали за Латорицу на выпас лошадей и затем опустошали сплетенные из ивовых прутьев верши, которые браконьеры ставили на перекатах и куда, как в капкан, шла рыба по сделанному из камней лотку.

— То-то натерпелись страху, когда кривой Ференц подкараулил нас в камышах! — подхватил Степан, радуясь, что старинный друг его оживился.

— Подстерег, выследил, да не поймал!.. — с довольным видом проговорил хозяин.

— Э нет, поймать-то он нас мог... — с сомнением покачал головой Степан Желизко. Но больной упрямо стоял на своем:

— Он был пеший, а мы верхом!..

— Да к тому же хромой... — прибавил Степан, хотя это было не так уж важно.

Конечно, в его замечании не было и тени насмешки или презрения к браконьеру Ференцу. Любивший поживиться на дармовщинку, Ференц на всю округу славился умением вязать такие хитроумные сети, каких никто в целом свете не видывал, он знал толк в изготовлении всевозможных капканов и ловушек на волков, лисиц и зайцев, не раз попадал в руки лесной охраны и жандармерии, но всегда выходил сухим из воды.

— Прав был тот, кто первым сказал, что Ференц в огне не сгорит и в воде не потонет!.. И все-таки рыбу, которую он в ту ночь загнал в палисок, ели мы!.. — Иван с нажимом произнес последнее слово и сразу как-то весь обмяк. Уж не лучше ли было бы лежать, а не сидеть в постели, подумалось ему.

Олены в хате не было, незаметно вышла куда-то, к Иванову ложу подошел сосед Шестак и стал вынимать подушку, которую жена засунула больному под самые плечи.

— Теснит!.. Так теснит, так давит, будто в груди тяжесть какая, изнутри так и напирает, кверху тянет!.. — пожаловался хозяин и все же с благодарностью взглянул на Дмитра Шестака.

— Ну и как же тогда получилось с рыбой-то этой, а, Иван?.. — Шестаку хотелось услышать эту старую историю из уст Ивана, он спрашивал почему-то не Степана Желизко, а больного хозяина.

Иван только рукой махнул — не было сил говорить.

Не было сил рассказывать, но картины прошлого вставали перед ним на редкость ясно и четко. Стоило лишь Ивану закрыть глаза — в комнате горела электрическая лампочка, и свет ее бил больному в глаза, — как он увидел далеко-далеко за Латорицей четырех лошадей, увидел ошалевшего от неожиданности хромого Ференца и его выпотрошенный на отмели палисок. Друзья ускакали так быстро, точно происходили из казацкого рода, славного своими всадниками. Разгоряченных лошадей пустили пастись. Пока Иван собирал для костра мелкий хворост и сухие стебли, Степан готовил вертела и чистил рыбу.

Деда Ивана измотала болезнь, за плечами у него была долгая жизнь, но сейчас он вдруг почувствовал себя совсем юным, этаким сорвиголовой, если уж не отъявленным озорником. В эти минуты он не только мысленно, но всей душой, всем своим существом перенесся на зеленый луг под усыпанным звездами небом, перенесся в ту тихую ночь, когда они сидели у костра и так весело потрескивали в огне сухие сучья. Сладко пахло дымком, радостно резвилось пламя, Степан насаживал рыбьи тушки на очищенные от коры палочки и осторожно посыпал их солью, пропуская ее между двумя пальцами, чтобы она падала равномерно... И едва лишь сок рыбы зашипел на углях, едва лишь под ясным звездным небом поплыл дивный, заманчивый аромат жареного, как больному Ивану почудилось, что он не у себя дома, не на кровати, пропахшей молоком и лекарствами, а прямо-таки на седьмом небе.

— Вот бы теперь нам такой рыбы, Степан!.. Кажется, все болячки и хворобы как рукой сняло бы! — с глубоким вздохом мечтательно произнес Иван, обращаясь не только к Пелизко, но ко всем своим товарищам, сидевшим на табуретах возле печи: там были Павлович, Шестак, Скиба, Петричко, Довгун. Один лишь Желизко — наверно, по праву давнишнего друга — сидел рядом с кроватью.

Честно говоря, трудно было бы ответить, почему они сошлись все вместе в Ивановой хате. Знали они Ивана не один год, однако встречались не так уж часто и всегда по делу. Они принадлежали к числу тех людей, которых в селе почитали за большой опыт и

славно прожитую жизнь. И надо сказать без малейшего преувеличения, что наибольшим уважением Иван пользовался именно среди них. Бывало, сойдутся десять мудрых и вот никак не могут прийти к согласию по какому-нибудь сложному вопросу, но стоит появиться Ивану, как он сразу вникнет в суть дела, на лбу его соберутся морщины, взгляд сделается сосредоточенным, и все встанет на свое место, будет найден прямой путь.

Вот почему — да будет вам известно — собрались побратимы в Ивановой хате.

— Что говорит медицина? — спросил кто-то из присутствующих, вопросом своим спуская Ивана с заоблачных высот, возвращая его из мысленных странствий по ночным пастбищам.

— Врачам лишь бы деньги!.. — лениво прогнусавил Довгун; можно было подумать, будто он только и делал, что платил врачам, хотя за всю жизнь не проглотил ни одной пилюли, ни одного порошка, а уж что касается простукивания, прослушивания, лечения зубов или, не приведи господи, укола — о них Довгуну было известно столько же, сколько о древнейшей клинописи.

Друзья переглянулись с некоторым удивлением.

Хозяин Иван поспешно возразил:

— Грех бога гневить! И лечат, и кормят, и ухаживают, и заботятся о больном у нас бесплатно!.. Конечно, может, где и попадется такое ничтожество, что заглядывает больному под подушку да за пазуху, мечтая выудить какую-нибудь десятку, в семье не без урода... Но мне — хвала и слава нашим порядкам — такого видеть не доводилось, хотя и немало леживал в Ужгороде и Львове, побывал в руках и у простых врачей, и у профессоров...

— То-то и беда: в руках у профессоров побывали, а им в руки ничего не сунули!.. — опять встрял Довгун, словно ему представился удобный случай оправдаться.

— Чепуху мелете, Андрей! Послушать вас, так вы не иначе как буржуй и капиталист или поете с чужого голоса... Я тоже лежал в больнице!.. Иван правду говорит!.. — рассердился Желизко.

— Готовьте, Андрей, мешок денег на случай болезни — не слыхать бы о ней никогда среди добрых лю-

дей, — очень серьезно, а может быть, и с насмешкой бросил Шестак. И к хозяину: — А лекарства, подходящие лекарства для вас, сват, нашлись?

— Думается мне, нет и не было в больнице лекарств, какие не испробовали бы на мне!.. — проговорил Иван таким тоном, точно он был одним из тех добровольцев, которые готовы, подвергаясь опасности, испытывать на себе лекарства ради здоровья и спасения жизни других людей.

— А здоровья нет как нет!.. — не отступал Шестак.

— Нету!.. — без отчаяния, а как-то равнодушно и бессильно махнул Иван побледневшей за время болезни рукой.

— И что за мир такой? Для атомов, для ракет, для другой погибели и золото находится, и ума хватает, а вот лекарство такое придумать, чтобы человек жил, это нет!.. — вскочил с табурета Юрко Павлович. Он жил по соседству с Иваном, и сельчане знали, что Юрко любит пофилософствовать на темы войны и мира, отношений между государствами.

— Здоровья нету!.. — тихонько уронил Иван, и чувствовалось, что он ко всему притерпелся. От этой безысходности могло сделаться жутко и здоровому, хотя мало на свете такого, с чем не примирится и к чему не привыкнет человек...

— Молоко, масло, мед, яйца и сало! Вот лекарства, вот что дает здоровье! Кабы мы весь век в достатке жили, ни одна хворь нас не одолела бы! — опять загнусавил Андрей Довгун, с силой потирая себе лицо заскорузлой ладонью, и враз побагровел, словно это была не ладонь, а рашпиль.

Советы и пересуды, громкие разговоры и философствования побратимов вконец утомили Ивана. Быть может, он и радовался, что его не забывают в беде, наведываются, но как-то помимо своей воли отвернулся к стене, закрыл глаза и уснул.

Побратимы направились к двери. Некоторые на пороге останавливались и незаметно взглядывали на больного. Его слегка растрепавшиеся волосы кое-где серебрились, и все же они были еще совсем черные, просто на редкость.

Лицо Ивана казалось спокойным, умиротворенным, его тихий сон — глубоким и сладким...

III

У дверей вдруг закрякала утка.

Хозяйка всполошилась, метнулась из хаты — она не держала уток.

Невысокая тщедушная женщина, сдвинув с головы теплый платок, сказала:

— Вот, сварите Ивану... Такой хороший, достойный человек... лишь бы здоровье к нему вернулось. С моим-то они ровесники были.

— Что вы, Терезка! Семья у нас, слава богу, большая, дружная... Нужды никогда не знали... — Олене было как-то не по себе: Терезка — вдова, а, смотрика, не с пустыми руками пришла навестить Ивана. — Гляньте-ка! — Олена показала куме на кучу всякой вкусной снеди, лежавшей на кухонном креденце *. Были там три грудки свежего творога, на тарелке желтело масло, в миске белели яйца, в двух больших банках светился мед. Варенье, домашняя колбаса, сметана, гусиная печенка — все, все говорило о людской щедрости и благосостоянии. Хватило бы здоровья все это съесть!..

— Слава светлому дню! — молвила гостья, плотнее кутаясь в теплый платок, — в кухне было холодно, Терезку проняла дрожь.

Женщины переступили порог и вошли в комнату, где лежал Иван.

Увидев, что больной спит, Тереза приложила палец к губам — дескать, сама понимаю, разговаривать тут можно только шепотом.

— Садитесь, кума дорогая, садитесь!.. — Олена пододвинула табурет к старинному, видно, прадедовскому комоду с большими выдвижными ящиками, комод этот служил также столиком для радиоприемника.

— Сяду, кумичка, сяду!.. — Тереза оглянулась на Ивана и села так осторожно, точно от этого зависело, хорошо ли поспит и отдохнет хозяин.

— Думаете, спит?.. — взглянула Олена на Терезу. — Сна нету! Чуть задремлет, и опять боль схватит... И давай стонать: йой да йой! Не спит!..

— Ой, верно, верно!.. Қабы болезнь обходила стороной честного труженика... — Терезка снова натянула на плечи платок, хотя в светлице было натоплено.

---

* Посудный шкафчик.

— Беда, да и только!.. — горько поджимала губы Олена.

— А ночью как? — шептала Тереза.

Олена только рукой махнула.

Женщины замолчали. Сидели подавленные; у Олены работа валилась из рук, да и не клеился у них почему-то разговор. Словно бы все уж было переговорено, все понятно и ясно. По хате разнесся запах шиповника. Тереза поняла, Олена варит напиток из шиповника, надеется, что он поможет больному. Хозяйка, спохватившись, отодвинула кипящий чайник на край плиты.

— В мире жить — мирское творить!.. — Тереза печально вздохнула — напрасно она рассчитывала такими словами утешить Олену: у них обеих девичество кончилось в один и тот же мясоед.

Олена молчала.

Но не молчалось ее давнишней приятельнице.

— Да уж хоть бы долго не страдал, кума дорогая, не помирал бы в муках мученских!.. Мой-то, бедняга, смертыньку легкую себе заслужил... Захворал, а на третий день у него уж в головах свеча горела... — Тереза говорила так, словно более легкой и удобной смерти, чем у ее мужа, и быть не могло.

Она принялась рассматривать комнату, точно раньше у нее для этого не было времени. Комната как бы делилась на две половины — освещенную и затененную. Хозяйка завесила лампу, чтобы свет не бил Ивану в глаза.

Олена нашла себе работу у плиты, разогревая нехитрый ужин.

По Терезиной позе, по взглядам, которые она бросала на кровать, по двум складкам, бороздившим ее лоб, было видно, хочет что-то спросить. Какая такая болезнь могла столь неожиданно и быстро подкосить мастера Ивана, эта мысль не выходила у нее из головы. А ведь недавно, еще в прошлом году, встретив его на улице, она с завистью подумала, что Ивану сносу не будет, таким здоровым и крепким он ей показался.

— Как это — слабая и белая кровь, кумичка?.. Доктора ее Ивану показывали?.. Может, как молоко или как чистая вода?.. — подойдя к Олене, прошептала ей на ухо Тереза. Удивлению ее не было границ — отродясь не слыхивала, что бывает белая кровь.

— Слабая кровь, жидкая... — только и могла ответить ей Олена, больше-то она и сама не знала.

— Стало, ему бы надо пить красное вино, кума дорогая, тогда бы у него кровь крепкая была... Эге, в аптеках раньше железное вино продавали... Конечно, ежели у тебя денег полный карман...

Тереза не в силах была помолчать ни минутки, все хотелось выведать побольше. А из-за этой белой крови и вовсе покоя лишилась — чего только не наслушалась за последнее время! Тем более что нисколечко не сомневалась: у нее самой кровь тоже не такая, какой должна быть. Едва землю скуют первые осенние заморозки, едва поля, деревья, плетни и крыши посеребрит первый иней, она прямо-таки коченеет от холода, руки и ноги немеют. Даже летом, если погода вдруг испортится, зябнет.

Но, видно, мало ей было собственных невзгод и терзаний — Тереза ненавидела себя за мерзлявость, — так еще покойный Илья подлил масла в огонь. Однажды, вернувшись домой в подпитии, Илья долго обхаживал жену, ластился, склонял к любви. И, может быть, в конце концов мужние нежности подействовали бы на Терезу и он добился бы своего, если б изо рта не пахнуло запахом корчмы. Это вызвало у него такое отвращение, что стоило ему протянуть губы для поцелуя, как она тотчас оттолкнула его.

«У тебя кровь жидкая и холодная, как у рыбы!» — сказал он тогда. Скинул обувь и штаны, нырнул в мягкие пуховые перины и моментально уснул. Узнав об этом случае, мать отругала Терезу и не на шутку настращала: дескать, ежели она и впредь будет так неподатлива и капризна, Илья начнет похаживать к другой. А у Терезы с того дня из головы не выходили слова мужа: «У тебя кровь жидкая...»

Так и прожила век. К счастью, муж ей попался тихого нрава, обходился без любовниц. Но до самой смерти не пожелал объяснить, почему у нее кровь жидкая. Вот и надеялась Тереза разузнать, что же такое жидкая кровь, ежели не у хворого Ивана, то хотя бы у Олены. Ну нипочем не давало ей это покоя!..

— Жидкая, и дело с концом... Ну, все равно что белая... — подвела черту Олена — больно страшно было заглядывать глубже.

На кровати пошевелился и закряхтел Иван.

Тереза сразу встала. Теперь она еще больше боялась увидеть его.

IV

Ясный луч предвечернего солнца озарил хату. Иван сел на постели. Сидеть было трудно. Слабость, вялость во всем теле, но все-таки он почувствовал себя немного лучше. Бывало, в молодости, не зная за работой отдыха, он мечтал как о немыслимом счастье полежать, ничего не делая, денек-другой. И вот теперь отлеживался за всю свою долгую жизнь.

Сидя и дышалось как-то не так — все болело.

Солнце не раз посылало деду Ивану свой прощальный луч, и, лежа в этих четырех стенах, побеленных известкой, он не раз испытывал то глубокое, удивительное и, по сути, загадочное чувство, когда раскрывается волшебная тайна потухания дня и вступления в свои права темной ночи. За долгую жизнь он привык во всякую пору года видеть солнце, любоваться им, когда оно по вечерам на малый срок — всего на несколько минут — являлось словно для того, чтобы не только обласкать семейное гнездо Ивана, но и благословить всех в нем живущих на заслуженный отдых после трудового дня, внушить радостную надежду на день грядущий.

Сейчас солнце виделось ему будто принаряженным, оно было такое ясное, что душа у деда Ивана пела и играла. Он чувствовал прилив благодатной живительной радости, и ему представилось, будто чья-то всесильная рука сняла все его боли и недуги и он больше не лежит, не хворает. Он переводил взгляд с золотой дорожки, стелившейся по дощатому серому полу, на полоску такого же чистого золота на стене. Все это медленно, но безостановочно двигалось, сходило на нет и вот-вот должно было совсем исчезнуть. Ивану вдруг показалось, что солнце у него в гостях и потому он должен выздороветь, встать на ноги, ведь работы непочатый край, ждут дела, которые может разрешить и устроить один он...

— Солнце!.. Солнышко!.. — шептал Иван, и губы его невольно складывались в молящую улыбку.

Так он и сидел бы, наверно, провожая солнце и по двору, так и сидел, пока не свалился бы от усталости, если б в сенях внезапно не раздалось громкое

звяканье железа и порог не переступил коренастый плотный человек — сельский кузнец Дмитро Довбыч.

— Добрый день, добрый вечер, доброго вам здоровья, хозяин! — Широкая, открытая, приветливая улыбка озарила загорелое полное лицо кузнеца, светившееся уверенностью в своем благосостоянии, заработанном кувалдой.

— А я все жду да жду, жду-пождү, а вы все не идете да не идете... — не отвечая на приветствие, будто пропел Иван.

— Не было готово! — Дмитро Довбыч, развернув большой лист плотной бумаги, выложил посреди хаты изделие из железа, то самое, о котором они уже давным-давно говорили с хозяином, обсуждая, каким оно должно быть. Довбыч обещал выполнить заказ быстро, но дело затянулось.

— Я уж думал, Дмитро, что помру, а его так и не увижу! — сказал Иван, радостно глядя с кровати на железяку, подернутую темным стальным налетом от горна и молота.

— О смерти пусть думают наши враги, пусть она приходит к тем, кому жизнь надоела! — И кузнец широкой, как лопата, рукой повел в сторону ворота, который он выковал для колодца, вырытого осенью во дворе старшего сына деда Ивана — Юрка: до сих пор воду набирали при помощи неудобной длинной жерди.

Иван рассматривал принесенное.

Края ворота со всех четырех сторон, где они должны впиваться в дерево, были заострены и топорщились насечкой — ни дать ни взять оскаливший зубы хищный зверь. Два обруча лежало на полу, словно пытаясь что-то обнять. Иван отлично знал, что они предназначены для валика, на который будет накручиваться и с которого будет ниспадать цепь, когда ведро станут поднимать наверх или опускать вниз. Осевой стержень, петли для дверец, задвижка, кольцо для крепления цепи к дереву и крюк для ведра — все, все лежало перед ним и выглядело таким прочным и надежным, что можно было не сомневаться: служить этот ворот будет не только хозяину, но и внукам его, и далеким правнукам. А тот, кто калил железо в горне, гнул на наковальне и бил молотами, конечно, заботился о чести своего ремесла и надеялся надолго оставить по себе добрую память.

На лице Ивана было написано: работой Довбыча

доволен. Иван даже как будто помолодел, морщины разгладились. На губах замерла сдержанная улыбка — хозяин принадлежал к тем людям, которые не выказывают радость в первое же мгновение.

Кузнец расположился на табурете широко и свободно, занимая чуть ли не половину комнаты. Он хранил упорное молчание; его адвокатом, судьей, прокурором, свидетелем был колодезный стальной ворот.

— Ну что вам, Дмитро, сказать о вашей работе, ежели она сама за себя говорит... Я знал, что один вы сумеете мне угодить. Потому-то и просил только вас и на вас надеялся, дай бог вам здоровья и да будут благословенны ваши руки!.. И няньо* ваш был такой!.. — Иван говорил все тише, тише, клонился на подушки.

Не мог, видно, разговаривать, да и высказал-то уже все сполна. Еще с минуту взгляд его скользил по фигуре Дмитра. Кузнец, опустив меж колен свои большие, тяжелые от железа и огня руки, поглядывал на поковку с тем удовлетворением, которое всегда испытываешь после добросовестно сделанного дела.

— Отдай, жена, человеку заработанное! — передохнув, сказал Иван хозяйке.

— О чем вы говорите?.. — смущенно запротестовал Довбыч.

— А как же: ваши — материал и работа, мои — деньги! — Иван глазами показал Олене, чтоб она развязала узелок.

— Не спешите! Выздоровеете, для меня что-нибудь смастерите... Знаете, как оно ведется меж людьми... Вы же не собираетесь бежать из села... А коли и не смастерите, выпьем на ваши деньги паленки, чтоб железо ржа не источила.

— Паленки мы выпьем и так. Я, Дмитро, никогда не любил, чтоб на мне долг висел — ни большой, ни маленький...

— Да лишь бы вы, Иван, были здоровы, а мои деньги у вас не залежатся!.. Но ежели вы так настаиваете, со мной рассчитается Юрко. Ведь это для его колодца!.. — Что и говорить, придумал-таки Довбыч, по какой дорожке ему выбраться.

Хозяин оценил, как мудро сумел кузнец избежать ненужных пререканий.

---

* Отец.

— Честно говоря, вуйко * Иван, я бы с этой железякой еще помешкал — столько колхозной работы навалилось, ей-ей, прямо не знаю, откуда берется... Но как услышал, что вы больны, а я ведь дал вам слово, и теперь надобно вас проведать, ну и не мог прийти с пустыми руками... — Говорил Довбыч спокойно, будто исповедывался не только перед Иваном, но и перед самим собой. И все же кое-что очень важное утаил: знал кузнец, что хозяину, мастеру Ивану хорошая работа доставит удовольствие, поднимет настроение, придаст сил, потому и старался как никогда. И, должно быть, Иван это понял. Довбыч хотел было вынести поковку за порог, однако больной подал знак: пусть еще полежит!

Смотрел Иван на работу Дмитра Довбыча даже с каким-то восторгом.

— Принеси, Олена, выпить и закусить!.. — сухо приказал он, заметив, что жена сжимает в кулаке деньги: она заранее приготовила и помельче и покрупнее, чтобы заплатить мастеру Довбычу.

— А какой паленки достать? — спросила она некстати, хотя прежде никогда таких вопросов не задавала. Все ключи хранились у нее; впрочем, в их доме ничего не запиралось. Как видно, болезнь мужа так подействовала на Олену, что в голове у нее все смешалось.

— Да той... Моей... — на миг запнувшись, нерешительно уточнил Иван.

Олене вспомнился один день поздней осени, когда муж приказал позвать Миколу, сына их свата. Ума не приложить, откуда взялись у хворого деньги. А он попросил парня сходить в Куштановицу, прихватив с собой две фляги — по десять литров каждая. Микола времени терять не стал, после обеда принес паленку.

Поставил оплетенные лозой посудины в Ивановой комнате и вздохнул с облегчением, словно выполнил ответственнейшее задание, какое только мог поручить ему мастер. Микола чувствовал себя обязанным деду Ивану и готов был все для него сделать. Как ни молод он был, а уж успел перенять у него многие из тех плотницких приемов, которыми в совершенстве владел дед Иван. Мастер давно стал брать с собой Миколу подручным — надо же кому-то и инструмент

* Дядя.

подать, и в пилке помочь, а то и бревно поднять, доску принести. Вроде и времени-то прошло всего ничего, а смекалистый и ловкий Микола уже многое понимал, многое знал, многое умел. И не забывал, чья это наука...

Огромные бутыли угрожающе уставились на Ивана, он спокойно скользнул по ним взглядом и попросил налить рюмку. Олена всполошилась: который месяц муж ни при какой оказии в рот не брал хмельного. Однако испугалась она напрасно — поняла это, когда Иван велел подать спички. Он долго принюхивался к содержимому рюмки, щуря глаза, наконец попробовал паленку на язык. И сплюнул в сторону, что означало: не проглотил. Затем он налил немножко па́ленки на придвинутый к кровати табурет и поднес зажженную спичку. Заколыхалось голубоватое пламя; оно медленно, очень медленно лизало паленку, пока не слизало дочиста. Когда огонек погас, Иван, попрежнему щурясь, окинул взглядом табурет — много ли осталось того, что способно лишь превращаться в пар?

— Крепкая? — спросил Микола, понимая, что экзамен выдержан успешно.

— Бывает и хуже. — Иван был не щедр на похвалу.

Микола, присев на корточки, осмотрел поверхность табурета.

— Хуже бывает, а лучше нет! — произнес он с такой уверенностью, точно всю жизнь торговал паленкой оптом и в розлив, а уж что касается сливового самогона, то мог бы служить экспертом высшей квалификации. А сказал он так, увидев чистый табурет, над которым таяло пахучее облачко.

— Да для чего же за этот бешеный огонь гроши выкинули? — видно, настал момент, когда хозяйка Олена вправе была выразить свое неудовольствие. Не могла она смириться с покупкой такого количества спиртного, а уж что денег-то ушло — теперь разве не считаясь с худой славой да на радость сплетникам сбывать сливовицу в розлив пьяницам.

— Не для чего, а для кого!.. — молвил Иван очень тихо и спокойно, обращаясь не то к жене, не то к Миколе, а может быть, отвечая собственным мыслям.

— Ну для кого, ради какой надобности выкинули деньги? — не уступала хозяйка, поглядывая то на

оплетенные прутьями бутыли, то на молодого мастера Миколу, словно именно он и должен был ей ответить.

— Да уж не ради крестин... или свадьбы... И сама могла бы догадаться!.. — опять спокойно проговорил Иван.

Олена обмерла. Ноги у нее подкосились, и она опустилась на сундук, стоявший подле плиты.

...Когда Довбыч, тщательно сложив свои железяки, перевязал их веревкой, хозяйка внесла тарелку с угощением и поставила ее на стол.

— Кушайте на здоровье!

Но кузнец угощаться не спешил. Ему было как-то непривычно пить одному, он считал, что без товарищей пьют только отпетые пьяницы. Словом, на паленку Довбыч смотрел без всякого воодушевления. А вот колбаса его явно прельщала — видел, что удалась хозяйке на славу.

— Не церемоньтесь, Дмитро, выпейте! — сказала Олена. — Просто Ивану хочется вас отблагодарить!..

— Я понимаю... Мастер Иван теперь не пьет... А то лекарства не помогут... Ученые говорят, что ежели человек лечится от какой ни то хвори, принимает разные там порошки или пилюли, ему ни пить, ни курить не след... — мягко и добродушно произнес Дмитро, оправдывая больного.

— Все, что мне в жизни положено было выпить, я, брат, уже выпил... А уж коли приходится от этого зелья воздерживаться... — Иван взглядом поощрял кузнеца не мешкая опрокинуть рюмку.

Однако Дмитро не спешил. Может быть, не хотел своей поспешностью искушать Ивана. Каково это, когда один пьет, а другой лишь смотрит!

— Пейте, а то из нее вся крепость выйдет! — настойчиво угощал Довбыча Иван.

Кузнец сжимал в руке бокал так, что он казался маленьким смешным жучком. Еще немного помедлил, словно впитывая аромат паленки, затем по-хозяйски осторожно, чтобы не расплескать ни капли, поднес бокал ко рту, вытянув губы, будто ему предстояло не выпить, а высосать жидкость. Но так только казалось. Не успел Иван и глазом моргнуть, а Довбыч уже жевал колбасу, наколов другой кусок на вилку. И, лишь когда пламень внутри погас и по всему его большому

сильному телу разлилось тепло, он отдал должное водке:

— Да, брат Иван, такой паленки мне давно не доводилось пить!.. Одно слово — дьявольская водка!

Хозяин, довольный, покосился на Олену: дескать, налей еще. Но только она потянулась к бутыли, как Дмитро прикрыл бокал рукой.

— Спасибо вам!.. Пусть хозяин Иван выздоравливает, пусть радость не обходит вашу хату! — искренне и сердечно поблагодарил он. — А паленка-то из Куштановицы!.. — Кузнец не ошибался, правда, ему не так важно было выяснить происхождение сливовицы, как показать свою осведомленность; заодно он отдавал должное талантливым умельцам, занимающимся этим старинным народным промыслом.

— Да, да, из Куштановицы!.. — торопливо подтвердила Олена.

— А давно мастер Иван воздерживается? — Кузнец не знал, с каких пор хозяин не пьет.

— Понимаете, Дмитро, когда человек является на свет, ему уж на роду все прописано — сколько весен птицы будут тешить его своим пением, сколько он зим перезимует, какие его ждут радости и какие постигнут беды, оставит ли он после себя кого-нибудь или никого не оставит... Даже то ему на роду написано, сколько он выпьет и съест.... — Первые слова Иван произнес как-то особенно многозначительно, а последние прозвучали так, точно это и не он говорил. В нем словно жили два человека. Прибавил, что все-таки вряд ли он свое выпил, и тут уж от истинного Ивана осталось совсем мало, ведь он никогда не был особенно охоч до водки и вина. Наоборот! В селе его знали человеком трезвым и насчет спиртных напитков строгим, не раз он говаривал, что пьяница не только хорошим мастером, но и хорошим человеком быть не может. Это все равно что вода и огонь, день и ночь... Потому-то, наверно, любители выпить не работали с Иваном, даже избегали встреч с ним. А говоря, что свое он уже выпил, мастер хотел сказать: для него, дескать, отцвели весны, отпели птицы и канули в вечность его лета, осени и зимы...

Довбыч задумался над словами хозяина. В бутылке коварно отсвечивала прозрачной чистотой водка, на тарелке лежала нарезанная большим кусками колбаса. Дмитро не ел, не выпивал — думал долгую думу. Он

был моложе Ивана, однако им не раз приходилось работать вместе, сидеть у одного костра, беседовать за одним столом. Довбыч помнил то время, когда они с Иваном наводили деревянные мосты через реки. Иван умел ставить опоры, он вязал балки и тянул пролеты, ему доверяли деревянные мосты таких конструкций, за которые взялся бы далеко не всякий, даже очень опытный мастер. Люди вообще охотно работали с Иваном: он был спокоен и мудр, внимателен к другим, любил шутку. Довбыч трудился у наковальни: гнул, клепал, натачивал скобы, готовил для крепления прутья с крюком на одном конце и винтом на другом. Словом, и рукам его, и молоту работы хватало.

— Да, да!.. — серьезно покачивая головой, приговаривал он, мысленно перенесясь на зеленый лужок близ той речки, через которую сооружался мост искусством мастера Ивана.

На землю уже спустились тихие сумерки, когда в кузнице погасли последние угольки, а со строительных площадок были убраны и затем сожжены щепки и всякий мусор. Мастер Иван и еще несколько человек оставались там до утра: нужно было дождаться комиссии и сдать ей мост. Иван был возбужден и счастлив, счастлив потому, что мост в самом деле удался на славу и был не только достаточно прочен для перевозки грузов, но и на диво красив — чудо, как вписался в эти зеленые окрестности. Пока там и сям валялись распиленные стволы деревьев, желтели щепки, громоздились горы камней и земли, все виделось не таким, как за несколько часов до приезда инженеров, когда уже навели порядок.

Мастер Иван, всегда сдержанный, немногословный, сосредоточенный, пока шла стройка, казался каким-то осунувшимся, до крайности утомленным. Легко сказать, на нем лежала ответственность и за ведение работ, и за всевозможные материалы, и за людей, и за сам мост, причем не только за его прочность, но и за красоту. И вот теперь Довбыч видел Ивана не умаявшимся, озабоченным сознанием возложенной на него ответственности и оказанного доверия, но торжествующим, просветленным и потому исполненным величия... Ведь мост был построен!

«Таким и остался для меня Иван с тех пор, как мы вместе строили! Таким я теперь всегда вижу его. Таким еще хоть раз я хотел бы его увидеть», — думал Довбыч.

Иван, наверно, спал.

Заснув, устав от разговора с кузнецом, от необходимости угощать его, а может быть, утомленный радостью, которую испытал, рассматривая поковку.

Олена отлучилась куда-то будто на минутку, и ее все не было и не было.

Кузнец Дмитро никак не решался выйти из хаты, но все же в конце концов встал.

С порога взглянул еще раз на груду железа, из которой кривошипом торчал ворот.

Во дворе встретился с Оленой — она несла от соседки молоко и вскользь заметила, что пришлось ждать, пока подоят корову.

«Ивану», — подумал он.

И опять вспомнил Ивана — прежнего, горделиво-радостного — там, на зеленой поляне близ нового моста...

V

Однажды — это было в понедельник — Ивану полегчало.

На радость жене он встал, попросил нагреть воды и приготовить чистое белье. Помылся и принялся точить бритву. Руки у него дрожали, ноги подкашивались. Он старался поменьше стоять.

Труднее всего было бриться. Бритва не слушалась Ивана, выскальзывала из рук. Он просто не представлял себе, как это ходить скверно побритым, а лезвие скрипело так, точно им скребли не щетину, а проволоку... Все это объяснялось тем, что Иван залежался и потому ослаб, отвык от всякого дела... Пусть-ка совершенно здоровый и сильный человек попробует полежать столько. Стоит ему встать, тоже зашатается с непривычки.

А хозяйка радовалась, что Иван поднялся сам, без посторонней помощи. Может, еще и одолеет болезнь.

Но радость ее была короткой.

В ночь со вторника на среду Иван почувствовал себя так, что Олена тайком насыпала в горшок кукурузы и на всякий случай воткнула туда свечку. Горшок она поставила на полку в сенях, чтобы все было под рукой, ежели, упаси бог, приключится беда.

В среду пополудни Ивана навестила старшая дочь с мужем, жившая в соседнем селе, Олена передала, чтоб они приехали. С больным в это время сидел его сын Юр-

ко. Был Юрко угрюм, погружен в раздумье, у плиты гремела посудой его жена Марийка, тоже очень грустная. Хозяин с такой тоской обводил взглядом хату, словно прощался со всем белым светом, а ведь свет для него ныне и впрямь сосредоточился в этой комнате, на этом маленьком пятачке...

Совещались недолго.

По привычке вытягивая губы трубочкой и нервно сжимая руки, старшая дочь сказала:

— Нужно дать знать в больницу! Пусть еще раз перельют кровь!..

Остальные молчали. Не иначе как полагались на Анну — она и умна, и житейского опыта у нее куда больше, чем у других.

Однако следовало выслушать больного. Они не знали, как к нему подступиться, с чего начать. Наконец, старшая дочь собралась с духом, усилием воли справилась с собой.

— А что, няню, коли бы вам дали кровь?.. — И похолодела в ожидании ответа. Всю жизнь Анна знала отца ласковым, мягкосердечным, добрым к домашним. Но приходилось видеть его и твердым как кремень.

Иван поглядел на дочь мутным взором, без искры надежды, помолчал. А потом:

— Разве за тем, чтоб я дольше мучился, дольше помирал...

Анна оцепенела, не знала, что сказать. Подумала, что своим вопросом только обидела, оскорбила отца...

— Медицина неглупа... Доктора разбираются... Они обязаны до конца бороться за больного... — пришел на помощь жене Иванов зять Илько.

— Бороться, ежели толк есть! — равнодушно молвил Иван.

— Вот и не следует так думать! Надобно и самому болезни сопротивляться... Эге! Помню, в нашем селе был случай. Человеку уже гроб заказали, привезли, венков сколько на похороны сплели. А пришли доктора, влили кровь — он и поныне жив... Гроб этот сын закинул на чердак, венки все тайком за хатой сжег... — явно присочиняя, рассказывал наивный и добрый Илько старую историю, наделавшую когда-то шуму в их селе.

Иван заколебался: «Может, попробовать?»

— Да стоит ли, дети, вызывать врача в такую даль, стоит ли ему терять дорогое время?

— Врач на то и есть, чтобы лечить!.. Ему государство

платит! Государственная машина его и привезет, и отвезет, нам за кровь расплачиваться не надо!.. — приободрившись, выкладывал свои доводы Илько.

Зря прождали целый день — в четверг врач не приехал.

Олена совсем покоя лишилась. Только мелькнет красный крест на какой-нибудь машине, несущейся по тракту, выбегает на мостки, смотрит вдаль. По телефону-то могли и не расслышать номер дома, могли неточно записать адрес, или, например, шофер невнимательный попался, проскочил мимо. Одна машина остановилась неподалеку, и Олена припустила к ней. Но оказалось, что это приехали из центра разбирать чью-то жалобу. Олена подумала, что заодно могли бы привезти кровь для ее мужа. Она высказала этот упрек вслух, однако на нее лишь взглянули дружелюбно и отвечали, что кровь больному непременно доставят на другой машине.

Привезли ее в пятницу около полудня.

Шофер подал машину на мостки задним ходом, Олена распахнула обе створки ворот. Из машины выбрались уже знакомая Олене медсестра и врач, который начал с любопытством разглядывать двор, постройки, точно прикидывая, хорошим ли хозяином был больной и что он после себя оставит.

Растроганная, Олена не знала, бежать ли к Ивану с известием, что привезли кровь, или посетовать врачу на злую хворь, немилосердно терзающую мужа, отнимающую у него последние силы. Нужные слова не шли с языка, впрочем, медицина уже сама направлялась в хату.

Дед Иван знал приехавших еще по больнице. Врач по возрасту мог быть его младшим сыном, он не отвечал тому представлению, которое Иван составил себе о докторах. По его понятиям, врач должен был быть человеком степенным, с животиком, нависающим над ремнем, с двумя или даже тремя складками на затылке. Видно, такой образ укоренился в сознании крестьян с тех давних пор, когда за всякую медицинскую помощь требовали денег да денег... А этот врач был очень молод, никакой солидности.

— Как себя чувствуем, Иван Иванович? Что это вы

нас подводите?.. — Говоря это, он снимал свое коротенькое синтетическое пальто, простроченными линиямн напомннавшее ватннк, и озирался, не зная, куда его положнть.

— Тает как воск... И что только болезнь с ннм делает! — запричитала Олена, словно все завнсело от приехавшнх.

Врач протянул руку и прижал палец к пульсу Ивана, а сам между тем исподлобья, незаметно вглядывался в его лицо — за время своей работы в больннце он научнлся по внешнему вниду определять состоянне пациента и развитне болезнн. К лнцу Ивана вдруг прихлынула кровь, он как-то удивнтельно помолодел, почувствовал прнлнв сил.

— Что ж, я бы не сказал, будто наши дела так уж плохн!.. — Врач бодрился и не выпускал руку больного, хотя уже успел сосчитать пульс. Наверно, его доброе теплое пожатие стонло многнх лекарств, однако Ивана оно не очень-то утешило: в больннце этн вселяющне надежду слова «нашн дела неплохн» говорили даже тем, кому через день-другой закрывалн глаза...

— А лекарства?.. Лекарства?.. Где же, наконец, лекарства, которые помогут?.. — не спрашнвала, а отчаянно прнчитала бедняжка Олена, не сводя умоляющего взгляда с охраннтелей здоровья.

— Эх, матушка, коли бы я знал, где такне лекарства, то жил бы не в Ужгороде, а в Москве, и меня возили бы к больным не на тряском драндулете, а на реактивных самолетах да вертолетах... — сокрушенно пронзнес врач. Но, сразу поняв неуместность своего замечания, переменил тему: — Что вам сказать? Домашняя обстановка благотворно повлняла на общий тонус больного. Я опасался худшего... Подкрепим, поддержим... Что в наших силах...

— Подкрепите, подкрепите!.. Все на свете отдам... — расщедривала душу Олена. А в глазах Ивана не светилась, а будто тлела мольба и последняя надежда. Слова были не нужны, и Иван молчал.

Пока измеряли температуру, пока больного осматривали, Олена переводила взгляд с медсестры на врача и обратно. Но как только онн начали готовить для переливания крови принесенные шофером инструменты, вышла во двор. Сердце у нее было слабое.

Долго все это тянулось. Олена почнстнла хлев, где зимовали подсвннки, нашла себе работу в летней кухне,

стоявшей напротив хаты. Наконец помыла руки и вошла в сени, а бедный Иван все еще лежал под белыми простынями, и над ним работали привезенные из Ужгорода приборы.

— Им-то каково... То-то наглядятся горя да мук!.. Небось у самих сердце разрывается! — шептала Олена, и врачебное дело казалось ей чудом. Всю жизнь она почитала наивысшей премудростью умение вправить кость, зашить рану, а самыми чудодейственными лекарствами казались ей порошки, мгновенно снимавшие головную боль.

Занятая своими мыслями, она не заметила, как очутилась на чердаке, не помнила, как взобралась по приставной лестнице. Свет щедро струился сквозь щели и не только стлался понизу, но как-то странно и необычно делил на части темень под крышей.

«Господи!.. Они вон в какую даль не поленились, да чтобы я для них пожалела?..» — говорила себе Олена, хотя и так давно все решила. Она только не знала, кого чем угостить. И потому разглядывала связку колбас, пропитанные дымом куски сала, три толстенных окорока — каждый весом с подсвинка, а по вкусу такие, что за них не жалко и чистого золота. Все это, освещенное лучами солнечного света, полосами падавшего сквозь щели и две отдушины в форме сердца, которые были прорезаны для того, чтобы на чердаке гулял сквозняк, все говорило о добром достатке и хорошо налаженном быте в доме мастера Ивана, все просилось на стол.

— Только бы здоровье Ивану — ни в кладовой, ни на чердаке пусто не будет! — шептала Олена, снимая с жерди две длинные колбасы: для медсестры и шофера. Задумалась, какой окорок взять для врача, передний или задний. Сняла задний и упрекнула себя за то, что колебалась. Иван, горемычный, ест теперь мало, и тем, кто о нем заботился в городе, кто и сейчас о нем радеет, не грех отдать что угодно и не жаль ни капельки!..

Она торопливо завернула гостинцы и остановилась, не зная, как быть дальше. Одарить ли приехавших самой прямо тут, в сенях, или сделать это как-нибудь иначе? Решение пришло мгновенно. Ведь они вынесут из хаты свои приборы. Значит, скорей к машине!

Олена быстро вышла, чтоб ее не застали в сенях.

Шофер — чернявый, еще молодой мужчина — недоумевающе посмотрел в ее сторону, когда она остановилась перед дверцей автомобиля, держа у груди свертки.

Однако недоумение его длилось недолго. Спохватившись, он, ни слова не говоря, распахнул дверцу с никелированной ручкой-замком.

— Это самому главному, а это вам, а вот той сестричке, — сказала Олена, положив на край выдвижной койки окорок и одну колбасу, другую она дала шоферу в руки, словно так было доходчивее и понятнее.

— Спасибо, мамаша! — Шофер присоединил свою долю к тому, что уже лежало на койке.

— Кушайте на здоровье! Лишь бы только Ивану помогло!..

— Поможет, как не помочь!.. — отвечал шофер, оглядываясь, и сразу увидел на крыльце медсестру. — Бегите, мамаша! Вас зовут...

Олена поспешила в хату.

Иван лежал навзничь и, казалось, мучительно ждал чего-то, хотя выражение лица у него было умиротворенное и спокойное, спокойное до безразличия.

— Иван Иванович отлично перенес переливание. Молодцом! — похвалил врач его выдержку.

— Молодцом? — Олена не сразу сообразила, что это означает.

Но в этот момент вошел шофер, чтобы помочь вынести приборы, и все направились к выходу.

— Не исключено, что немного погодя Ивана Ивановича начнет бить озноб. Вы этого не пугайтесь. Такое бывает даже с людьми куда более здоровыми и сильными. Главное — спокойствие и выдержка. А там увидим... — Врач словно что-то обещал Олене, словно успокаивал ее, наставлял.

— А полегчает ему?.. — Олена не спрашивала, а молила.

— Полегчает!.. Непременно полегчает! — И врач поспешил вслед за медсестрой, которая уже садилась в машину.

VI

Юрко вскочил, услышав шаги за дверью.

Последние ночи он спал и не спал — все слышал. От этого постоянного напряжения ныли и болели мышцы он чувствовал себя слабым, как комар.

— Скорей иди! — рыдая, сказала мать.

— Чего плачете? Думаете, поможет?.. — пробормотал Юрко. А сам весь дрожал, и неприятный холод пополз по спине к затылку.

Олена что-то молвила в ответ, но он не расслышал — она уже семенила от нового дома сына к старой хате, их семейному гнезду, где лежал больной Иван.

Юрко услышал, как заворочалась на кровати жена, как проснулись оба его сына, а в хате стояла такая тишина, от которой пробирал мороз.

Натянув брюки — он надевал их, сидя на кровати, при тусклом свете ночника, — Юрко заметил, что они задом наперед. Наступив на штанины, быстро сдернул их, и через секунду брюки снова были на нем.

Когда застегивал ремень, у него вырвался нервный вздох, и он быстрым движением откинул занавеску на большом окне, выходившем на улицу.

Мир за стенами теплой хаты рябил голыми деревьями, росшими на обочине дороги, ветви сплетались в диковинное, небрежно брошенное кружево на фоне голубеющего чистого неба с необычайно яркими звездами, и из-за этих звезд опять было очень холодно, вообще все казалось страшно холодным в этом далеком и таком близком мире...

Юрко выбежал на улицу.

Студеный ветер лизал гладкую, как гранит, мостовую, свистел в кронах голых деревьев, тех самых, которые Юрко видел из окна, и, обессилев, падал на лицо.

Стук каблуков раздражал Юрка, и он сошел на обочину. То там, то здесь потрескивал тонкий лед — ночью ударил мороз, лужи затянуло ледяной коркой.

Он вбежал в старую хату.

Заметил на комоде выглядывающую из-за высокого радиоприемника белую свечу и затрепетал.

Заплаканная мать показала взглядом на постель. Сын понял, что нужно подойти к отцу. У него внезапно перехватило дыхание, он готов был рухнуть на колени.

Судорожно глотнул слюну, чтобы подавить боль.

Отец дышал медленно и был спокойно сосредоточен. Юрко видел, у него уже ничего не болит.

Иван сделал движение в сторону сына, и тот протянул ему руку.

— Ты готов?..

— Няню, что вы! — Юрко больно сжал отцу руку и стал покрывать ее поцелуями, думая лишь об одном: чтобы не потекли из глаз слезы.

Иван привлек сына к себе, точно хотел подать ему знак или что-то сказать.

— На сеновале доски... хорошие доски, сухие... давно лежат... — Отец как будто говорил сам с собой.

Сын почувствовал, как по спине поползли мурашки и пересохло в горле.

Напустив холодного воздуха, ворвалась Юля Пигулка — ну, словно у нее хата загорелась.

— Ради всего святого, спасите, Юрко! Умоляю, спасите, дорогой! Корова с полночи никак не отелится... — Юля бросилась к сыну Ивана, точно здесь больше никого не было, и она несказанно обрадовалась, что наконец-то нашла спасителя.

Юля и вообще-то была невелика ростом, а сейчас, обутая в растоптанные мужские башмаки, казалась еще меньше.

— А фельдшер-то на что? — молвила Олена.

— Да его черт на какие-то курсы унес, а доктор по скотине пятый день нè проспится... — Юля готова была разрыдаться.

— Ступай, сын! Там дети малые... — коротко распорядился отец.

Юрко колебался.

— Иди, иди! Жалко скотину, что ей зря мучиться... — повторил отец.

Юрко вышел вслед за Пигулкой.

Умение спасать скотину от всяких напастей передал сыну Иван. Прежде чем стать мастером-строителем, немало провел он бессонных ночей: лечил домашний скот у односельчан... Но и потом, если требовалась его помощь, никогда не ленился. Не раз в ответ на упреки жены говаривал: человек сумеет себе помочь скорее, чем животное. Даже после того как в селе была создана ветеринарная служба, люди все равно обращались к Ивану.

Сын ушел с Пигулкой. Ивану вроде бы полегчало. А Олена уж думала, что не пережить ему этой ночи. Сейчас у него топорщились усы, подбородок как-то странно заострился. Но, может быть, ей так только казалось...

— Садись!.. — кивнул он на край кровати.

Она села.

Он ничего не говорил, но она понимала, что вставать не надо. И то, что он молчал, хотя собирался что-то сказать, мучило ее. Однако она решила терпеть.

— Инструменты мои раздай, а то пропадут понапрасну, ежели ими никто не будет пользоваться... Грех это... — И умолк, хотя сказано было еще не все.

Сидя на краешке кровати, Олена представила себе плотничий, столярный, каменщицкий инструмент. Все это не просто возникло перед нею беспорядочной грудой — нет, инструменты Ивана блестели, сверкали, каждый из них разговаривал только ему присущим голосом и изо всех сил бодрился.

Ритмично отбивал такт топор, позванивали в спокойном медленном танце долота, свистом отзывались пилы, со скрипом вгрызались в твердое дерево сверла, в бешеной пляске носились фуганки, выплевывая белые шелковистые ленты, лениво и важно взад-вперед шаркал длинный шерхебель — с его помощью Иван как бы наводил глянец, завершая трудную, требовавшую много хлопот работу.

Все жило, действовало, и вместе с инструментами трудился сам мастер Иван, неважно, что он уж который месяц не брал их в руки и они мирно отлеживались на чердаке в ожидании лучших, более веселых времен...

«Где пила?»

«Кто опять вынес из хаты долото?»

«Куда девался топор?»

«Кому без меня отдали сверла?»

«Кто затупил плотничий нож?»

«А пропади вы пропадом за то, что не поддерживаете порядок и никогда ничего не кладете на место!»

Так и звучит в ушах у Олены ворчливый голос Ивана: весь сенокос, всю жатву провел дома, а инструменты неизвестно куда запропастились. Догадайся-ка теперь, где они, попробуй-ка их отыскать.

Правда, они всегда находились. Но без шума было не обойтись.

— Канадский белый точильный камушек прибереги для зятя Ивана. Чтоб ему было на чем нож поточить... Больно полезный камушек... Хорошо служил, я любил его... Пусть останется Ивану на память... Еще от моего деда завалялся... Дед его с заработков принес... Миколе, сыну нашего свата, топорик и пилу ручную. Давно о таких мечтал... И Юрко пусть себе что-нибудь выберет — у него два сына... Может, хоть один по мастерству пойдет... Да нет, дети нынче стали какие-то не такие... Им лишь бы рук не прикладывать...

Так постепенно все и распределил. И теперь отдыхал, как человек, покончивший с одним из самых важных и трудных дел.

Олена вскочила было с места, но он жестом остановил ее.

— Ты, если хочешь, позови попа... А дети у меня ученые... Для них пусть играет оркестр... Как-нибудь помирится одно с другим... На свете и не такое бывает...

Точно не слова, а острый нож вонзался ей в сердце...

— На новую одежу денег не тратьте. Мой серый костюм и на пасху надеть не стыдно... Шляпу положить не забудь: пусть и там видят, что я не баба, а мужик... И резную палку, которую Марийка подарила, тоже положи: будет на что опереться, ежели встретятся крутые горы или придется реки вброд переходить, да и всякую нечисть отгонять, обороняться от нее пригодится...

Он умолк...

VII

Отец Климентий явился строгий и подтянутый, будто собрался на богомолье в дальние края.

Олена, зная, что он должен прийти, выглядывала его с крыльца.

— Как Иван? — спросил поп, поднимаясь по невысоким ступеням.

— В чем только душа держится... — отвечала Олена и такими глазами поглядела на отца Климентия, словно теперь от него зависело спасение не только души, но и тела.

— А говорит еще?

— Говорит чисто...

Иван, едва услышав голос попа в сенях, отвернулся к стене и закрыл глаза.

Отец Климентий постоял с минуту посреди комнаты, точно не зная, с чего начать и вообще что делать.

— Больной спит? — спросил он. А дьячок — низкорослый человечек в поношенном полушубке — что есть мочи вытянул свою тонкую шею, будто хотел поверх высоко взбитой белой перины увидеть лицо Ивана.

— Разве что недавно уснул... — стала оправдываться хозяйка: за духовным отцом как-никак пришлось посылать в соседнее село куму Этелу.

Иван тяжело застонал.

— Добрый день, сват! — тотчас громко поздоровался с ним дьячок Сидор, хоть и не доводился хозяину ни близким, ни дальним сватом.

— Спишь? — приблизилась к Ивану жена.

— Божьей вам благодати, хозяин Иван! — ласковым, бархатным голосом произнес отец Климентий.

Иван пошевелился.

Олена осторожно отодвинула перину от головы больного.

— Отец Климентий пришли!.. — сказала она, не зная, с какого боку подступиться к мужу.

— Климентий? — негромко переспросил Иван, бесстрастно глядя на духовного отца.

— Молебен, сват!.. Молебен... он всегда положен... да и для примирения души надобно исповедаться... — наставлял больного дьячок Сидор Штым.

Иван молчал, только сосредоточенно смотрел на смуглого лицом, красивого, дородного отца Климентия. Было видно, что он собирается что-то сказать попу или, может быть, хочет о чем-то спросить, а молчит потому, что мысли проносятся беспорядочным роем либо он что-то решает сам с собой.

— Узнаете меня? — не выдержав его взгляда, поп быстро шагнул к больному.

— Вы — отец Климент...

— А его узнаете? — показал поп на дьячка, когда тот тоже подошел поближе.

— Это шалопай и бездельник Сидорко... Штым... Федоров сын... У соседей из-под кур яйца воровал и на курево менял... — медленно, но членораздельно проговорил Иван.

— Человек к тебе по божьему делу пришел, а ты вон какую честь ему оказываешь? — бросилась спасать положение растерявшаяся хозяйка. — Это же наш дьячок!

— Да я ничего... — рассудительно и спокойно отвечал Иван. — Голос у него сызмальства сильный... Когда скотину на пастбище выгоняли, так орал, что в соседнем селе слыхать было... — Последнее слово Иван произнес очень громко, наверно, опять нахлынула боль.

Сидору Штыму стало не по себе, он как-то сразу сник, увял. Сидор не забыл, а сейчас вспомнил во всех подробностях, как однажды глупо попался на воровстве яиц у Ивановых соседей.

Набрал полную пазуху — ни единого яичка на расплод не оставил — и уж начал было задом вы-

лезать из курятника, как вдруг кто-то его хвать за штаны да как дернет к себе, яйца так и посыпались.

Хозяин Сагайдак нещадно драл его за ухо. Сидорко уж думал, оторвет напрочь. Он завизжал от боли и впился зубами в другую руку хозяина.

Тот крикнул:

— Марги-нта! Выйди-ка во двор! Я в курятнике вора поймал!

Закатав рукава выше локтей, со скалкой наперевес выскочила из хаты хозяйка.

Собрались соседи. Среди них Иван, он тогда еще неженатый был. Да, да, этот самый, что лежит сейчас на кровати... Сагайдак, точно клещами, ухо сжал, Сагайдачка лупит скалкой по голове, дубасит по лопаткам, по спине. Соседи глядят из-за плетня, хохочут, по двору белками и желтками растекаются яички... Ошалевшая от праведного гнева хозяйка, ухватив Сидорка за волосы, повалила его на землю и ну тыкать в лужу из яиц. Да все носом, носом норовит и приговаривает:

— На, ешь, ешь, адово отродье! Чтоб тебе мои яички и носом и ртом полезли! Для тебя я, дьявол, кур кормлю?

— Люди добрые! Да есть ли у вас сердце? — внезапно закричал стоявший за плетнем Иван. — Из-за какого-то десятка яиц готовы убить человека? Тюрьмы не боитесь?

Сагайдак отшвырнул к крыльцу скалку, оттолкнул жену.

— Беги, воришка, убьет тебя сатана эта!

Выплевывая землю, Сидорко вмиг перемахнул плетень — где только силы взялись? — и так драпанул, что сам черт его не догнал бы. Только дома на сеновале вытряхнул скорлупу, снял мокрую рубаху, мало-помалу отдышался и пришел в себя...

Все это припомнилось Сидорку теперь, в хате больного, да так явственно, словно только вчера было. Наверно, потому, что сам Иван, его спаситель и свидетель того давнего происшествия, оживил воспоминания. Даже ухо запылало, и всего так и бросило в жар. А ведь над Сагайдаком уж многие годы трава на кладбище зеленеет...

— Отец Климентий пришли... Исповедался бы... А у тебя все пустяки на уме... — корила мужа Олена, не зная, куда деваться от стыда.

— Ис-по-ве-даться? — встрепенулся Иван.

— Ну да!.. Я уж и не помню, когда ты отведывал святого причастия... — неназойливо, без нажима проговорила Олена.

— А в чем исповедаться? — Хозяин неожиданно взглянул на дьячка, точно именно Сидорко Штым и должен был объяснить ему весь существующий порядок.

— Да в чем люди исповедуются? Ты в своем уме-то или уж без памяти? — Что и говорить, в трудное положение попала бедняжка Олена.

— У меня грехов нету! — произнес Иван с такой убежденностью, что можно было подумать: святой человек.

— Всякий, явившийся в этот мир, не только сам зачат в первородном грехе, но и для одного безгрешно не прожил... — спокойно, ни на кого не намекая, не желая унизить ничье достоинство и честь, принялся поучать отец Климентий.

Иван ни слова.

Поп умолк.

Теперь Сидор Штым и впрямь чувствовал себя не в своей тарелке. От молодецкой удали и самодовольной заносчивости не осталось и следа.

Бедная Олена готова была провалиться сквозь землю.

— Расскажите-ка мне лучше, духовный отец, что делается на белом свете, — попросил Иван. — Вы газеты читаете, радио слушаете, телевизор смотрите.

— Всю-то жизнь тебе политика не давала покою. Вот и ныне думаешь не об очищении от греха, не о спасении души — нет, опять-таки голова твоя забита этой политикой. Отец Климентий — человек духовного звания, ему до политики дела нет... — сердилась Олена на своего Ивана.

Иван поднял руку.

— Куда ни кинь, везде политика!..

— А всякая политика — брехня и жульничество! — будто очнувшись, изрек Сидор Штым.

— Нет, бывает и честная! — возразил Иван.

— Отец духовный с дьяком, не жалея трудов своих, творили молитву, чтобы тебя отпустило... — не могла успокоиться хозяйка.

— Эх, жена моя милая, знаю я, все знаю... Отпустит меня... Уж недолго тебе ждать, потерпи!.. Скоро совсем отпустит.., — отвечал Иван убежденно и с такой глубо-

кой печалью, с такой болью, которая сейчас же передалась присутствующим.

Сидор Штым, незаметно взяв с табурета чемодан с необходимыми для моления принадлежностями, попятился к двери.

Собрался уходить и отец Климентий. Постоял молча у порога, взглядом прощаясь с Иваном. Видно, много — ох много! — мог бы он сказать больному. И не было бы в его словах ни тени упрека или осуждения, не было бы ни наставлений, ни поучений. Может, сказал бы Ивану, что ошибся он, ступил в сторону, отошел — только и всего... А впрочем, как знать, справедливо ли это! И отец Климентий стоял в полумраке у двери и смотрел на лицо мастера, освещенное лучами ясного холодного солнца, клонившегося к закату. Казалось, в Иване воплотилось сейчас все человеческое достоинство, все самообладание. Никогда еще отцу Климентию не приходилось видеть ничего подобного. Это граничит со святостью, подумал он.

Иван тоже смотрел на священника. Стоя в тени у двери, духовный отец как бы таял, расплывался, только свободно опущенная рука его была почему-то непомерно большой. Очень большой. И белой-белой...

Но не одну лишь большую белую руку отца Климентия видел Иван в сумерках у дверей своей хаты. Иван видел себя на широком плацу, слева и справа строились обмундированные, вымуштрованные его товарищи, звучала громкая команда, звенели шпоры офицера, шедшего отдавать рапорт, приближался преподобный отец с черными нашивками майора. Усеянное цветами, залитое солнцем поле, окаменевшие ряды солдат с остановившимся взглядом и выпяченной грудью, черные жерла пушек, сооруженная из зеленых веток чудна́я часовенка и короткий молебен... и слова, благословляющие их убивать и умирать за цесаря... Поп-офицер махнул кропилом в сторону солдат, махнул в сторону пушек, лошадей, повозок, большой белой рукой начертал крест на все четыре стороны света, точно повсюду слал погибель и смерть.

Иван смежил веки.

— Вашего мужа еще рано исповедовать!.. — промолвил поп неприязненно, когда Олена вышла за ним на крыльцо.

Хозяйка на минуту задумалась.

— Сказал, чтобы, как помрет, я для себя священни-

ка позвала... а для детей музыку... — стала она оправдываться, вся охваченная стыдом и смущением, столь серьезной казалась ей ее вина перед священнослужителем.

Поп стоял на ступеньках. Смотрел на далекий светлый горизонт. Когда на пологие невысокие горы падали угасающие лучи солнца, чудилось, будто горы смыкаются с небом.

Во дворе перед хатой томился Сидорко Штым. После выпитой натощак сливовицы у него началась изжога, неприятно горчило во рту, он оттопыривал верхнюю губу, отчего топорщилась короткая щетина. И по всему было видно, сказать Сидору нечего.

— Вот я и подумала, коли завел об этом речь, значит, хочет исповедаться... — продолжала Олена, то ли отвечая на свои мысли, то ли обращаясь к отцу Климентию.

— Он сказал, чтобы вы позвали себе священника, а детям оркестр. Да не сказал, кого следует позвать для него!.. — задумчиво произнес отец Климентий.

— А мне и невдомек...

VIII

Утро вставало в густой сини, которая мало-помалу редела над самым горизонтом, потом заметно голубела, переходя в серебристую лазурь, и наконец превращалась в холодное дневное свечение.

Время, как видно, летело быстро — скоро поднялось солнце. Светило оно как-то странно, обходило село стороной, но силы ему хватало: ближе к полудню в овражках начал подтаивать снег и забурлили ручейки.

Хата Ивана плакала черными стрехами.

Выстроившись в ряд по всей длине насупленной крыши, большие густые капли выстукивали однообразный тоскливый мотив.

Отец Климентий в одеянии со скупо нашитыми лапчатыми серебряными крестами, предназначенном для похоронной требы, стоял во дворе. Ивана еще не выносили, родные и близкие не спешили прощаться с ним — ждали духовой оркестр, но тот почему-то запаздывал, хотя завком, по слухам, гарантировал абсолютную точность. Внуки Ивана, работавшие на заводе, нервничали, чувствуя себя виноватыми, да делать было нечего, приходилось терпеливо ждать.

Иван лежал в гробу из тех самых досок, которые сам когда-то отстругал и принпас, о которых несколько дней назад говорил Юрку. На покойном был серый в полоску костюм — «его и на пасху надеть не стыдно». Справа от Ивана лежала не та палка, с которой он обыкновенно ходил, а щедро увнтая виноградной лозой и гроздьями винограда резная трость с головой хищного зверя на верхнем конце. Это произведение нскусства как-то осенью привезла Ивану из знаменитого Трускавца его дочь Мария. И, вндно, подарок пришелся отцу по душе: он пользовался тростью только по праздникам да воскресеньям, в слякоть никогда не брал с собой... Шляпа с изогнутыми краями — кто в их большом селе не знал эту шляпу? — лежала на левом плече, будто только что сползла с головы. В левый карман пиджака кто-то сунул толстый журнал, в котором было н много текста для чтения и немало смешных картинок для рассматривання. Знать, помнили люди, что Ивану предстоит дальняя дорога с большимн станциями для пересадок и маленькими остановками для отдыха.

Послышались громкие голоса, и солнечный луч упал на Иваново лицо. С остановившегося у хаты грузовика прыгали парни, подавая друг другу блестящие, но уже кое-где помятые и поцарапанные оркестровые медные трубы.

Хозяйка вмиг точно окаменела, застыли у гроба дочери и сыновья, зятья и внуки. Тихо плача, Олена всей ладонью гладила мужа по его пожелтевшему лицу, точно хотела сквозь слезы что-то сказать ему. Всем своим тяжелым телом тянулась вперед н замирала над Иваном.

Дочери заботливо подхватнлн мать под руки, приблизились зятья, словно тещу передавали под их опеку. Дочери — старшая и младшая — по очереди припадали к отцовскому лбу, а отец впервые ничего не слышал, ннчего не видел, не знал. И наверно, поэтому теклн и стыли слезы детей, теперь уже снрот, и слышалнсь рыдання, и тоска отзывалась в сердце острой болью...

Длинная и шнрокая телега-платформа на резиновых колесах была низкой и, главное, неприспособленной для провожания в последний путь хотя бы потому, что на ней обычно перевозили пузатые бочки с пивом, тяжелые ящики с провизией н мешки с мукой и сахаром, но сейчас об этом никто не думал. В подводу были запряже-

иы сильиые, хорошо откормленные кони — рыжий и серый, и казалось, что она едва возвышается над землей, а кони невероятио огромны.

Кони терпеливо ждали, телега была уже со всех сторон обвешаиа бумажными венками, а Иваиу все несли и несли веики из каждой хаты...

И, как только парии задули в трубы, колыхнулся настояиный на еловой хвое и венках воздух.

Отец Климентий спокойно снял епитрахиль, сложил ее и сунул в чемоданчик; теперь он совсем не был похож на священнослужителя, даже как-то затерялся в похороиной процессии.

Под тихий плач родных выносили Иваиа со двора, укладывали среди венков на подводе-платформе, застланной иедорогим ковром.

На высоком сиденье, держа в руках вожжи, с сосредоточенным видом сидел брат вдовы Юрко — бывший артиллерист в корпусе генерала Людвика Свободы. Он озирался по сторонам, и оттого, что все лицо его было испещрено преждевременными морщинами, изрыто большими и малыми бороздками, Юрко казался более суровым, чем был иа самом деле, и куда старше своих лет.

Процессия все никак не могла троиуться в путь, перед телегой еще толпилась молодежь с венками — венков и впрямь была тьма-тьмущая.

Наконец кто-то подал знак, парни с трубами в руках приготовились.

— Дьёй! — Юрко-легиоиер (так в селе и вообще в округе иазывали ветерана, служившего иыне возчиком в кооперации) дернул и опустил поводья. Большие резиновые колеса легко покатили телегу по тракту. С каким-то страиным звуком зацокали подковами лошади. Шаркали подошвами Ивановы побратимы, его сваты, соседи, кумовья и просто знакомые; те, кто знал Иваиа, кто находился в селе в тот час, когда он совершал свой последний путь, все отложили свои дела, как повелевал им старинный добрый крестьянский обычай. Сперва то тут, то там слышались отрывистые разговоры, но вскоре рыдания покрыли все, заглушив даже медные трубы...

«Сколько народу!.. Сколько иароду!.. То-то почитали Ивана!» — ие без гордости за сестрина мужа думал Юрко, оглядываясь иа процессию.

Кони равномерно цокали подкованными копытами, но вдруг, сбившись с шага, начинали выбивать дробь. Однако через минуту опять шли размеренно, и в этой размеренности была своя стать и определенная дисциплина.

«Цок-цок... цок-цок...» Стук подков вернул легионера Юрка в те времена, когда Иван возвращался домой поздней ночью, опираясь на палку, с одного конца украшенную оленьим рогом, а с другого окованную металлом.

«Цок-цок-цок» — и вся улица знала, что домой идет не кто-нибудь, а Иван. А он, Юрко, в этот час давно уж лежал в постели, вслушиваясь в стук палки и ожидая песню «Слышишь, брат...».

И действительно, скоро раздавалось: «Слышишь, брат мой, товарищ?..» И по тому, как произносил Иван каждое слово, можно было сказать, в каком он настроении — доволен, счастлив или тоска, нежданная боль терзают ему душу.

«Кто теперь запоет так, как певал Иван?» — грустно думал Юрко, припоминая, что уж давным-давно не звучит у них в селе эта песня.

А как он надеялся ее услышать! И надеялся услышать не от кого-нибудь, а именно от мужа Олены.

Он надеялся на это не только потому, что верил в Иваново выздоровление. Он знал: никто, кроме Ивана, не сумеет вложить в эту песню столько скорби и внезапной грусти и вместе с грустью тоскливого желания. А значит, не будет больше такой песни, той самой, Ивановой.

— Дьёй! — неровно дернул вожжи Юрко, хотя не было никакой нужды ни понукать, ни останавливать серого и рыжего, ни даже вообще обращаться к ним.

«Семь, двенадцать, пятнадцать, двадцать... Тридцать два, сорок четыре, шестьдесят!.. Сколько венков!.. Господи, сколько венков. Вот кабы Иван встал да поглядел!» — Верона Мариаш замерла, стоя на обочине и в тревожном восхищении глядя на похоронную процессию.

Вдруг она почувствовала слабость во всем теле, ее пробрала дрожь, и Верона плотнее натянула на плечи клетчатый платок из мягкой шерсти.

Почти машинально двинулась за процессией по тро-

туару, точно именно сбоку и можно было увидеть все как нельзя лучше. Некоторое время она держалась напротив платформы, потом как-то незаметно отстала, сбавив шаг, хотя и раньше шла медленно, и вот ее миновали дети Ивана, близкие родственники, соседи — те, кому и полагалось в эти минуты быть поближе к нему, к музыкантам, к венкам...

Верона с любопытством вытягивала шею, всматривалась: где же Олена? Но так и не увидела ее... «Боже, каково-то Олене?.. Каково-то ей обряжать Ивана?.. Это не под венец, когда вместе... Это уж...» — думала она, по-прежнему ощущая озноб при виде того, как люди идут за подводой-платформой; их вел не кто-нибудь, а сам фронтовик Юрко, он возвышался над процессией, и люди как будто покорялись воле оркестрантов, которые то тянули тоскливую мелодию, то вдруг отчаянно били в бубны, в медные тарелки, словно хотели заявить о себе силой, утвердить себя грохотом, и все это раскатами грома катилось к горам, близким и далеким.

По лицу Вероны потекли слезы. Она их не утирала; обеими руками натягивая платок, чтоб не так страдать от неприятного, охватившего ее холода, Верона выпускала на волю сокровенные свои чувства. Погружалась в голубовато-розовую даль давно прошедших девичьих лет и мечтаний.

...Серебряными лапками светились на вербах почки.

Медленно таяли снега — дни становились длиннее, теплее, солнце щедрее.

Парни возвращались с войны.

Парни приглядывались к девушкам.

Парни хотели жениться.

Вернулся с войны Иван.

Хотел жениться Иван.

Приглядывался к девушкам Иван.

У газды * Мариаша была на выданье дочь Верона.

Верона приглянулась Ивану.

Мариаш готов был отдать Верону за Ивана. Даром что теперь у Ивана левая нога была короче правой. Даром что ходили слухи, будто и в правой ноге у него еще с итальянского фронта застрял кусок железа. О том, что левая нога у Ивана короче, было известно всем — все

* Хозяин.

видели, как он хромает. Иван этого и не скрывал. За четыре года войны он не дослужился до чинов и званий, не принес домой ни медалей, ни орденов, дающих коекакие блага, а заслужил он у цесаря только одно — право возвратиться восвояси с укороченной ногой. Спасибо и за то! Сколько людей было искалечено на этой бойне, сколько народу сложило головы за цесаря... Зато и самого цесаря не стало. А уцелей он, возможно, не было бы в живых Ивана. И некому было бы увиваться за Вероной, как и у Вероны не было бы никакой возможности крутить любовь с Иваном.

Газду Мариаша мало беспокоило, что у Ивана левая нога короче правой, и на разговоры о том, что в правой ноге у парня сидит железный осколок, он тоже не обращал внимания. В конце концов, кто его видел, этот осколок, а Иванов род с деда-прадеда по всей округе славился порядочностью и примерным трудолюбием. Были в этом роду отличные мастера-строители, хорошие столяры и каменщики, любили они землю и скотину, умели из ничего создать нечто и никогда не колебались, когда нужно было занять несколько часов у ночи, чтобы продлить трудовой день. Мариаш спал и мечтал заполучить зятя из такой семьи.

По селу уже прошел слух, что Иван не только посватает Верону, но и женится на ней. Только никто не знал, когда будет свадьба. Ее можно было сыграть после пасхи, а можно было и после жатвы, когда уберут хлеб, когда вырастет капуста, созреют огурцы и другие овощи.

Мариаши тоже не сомневались, что дело идет к свадьбе. Проводив Верону из нижнего конца села в верхний, Иван допоздна засиживался в хате ее родителей. Постоит, бывало, с девушкой у калитки, а как только мать пригласит в хату, войдет и посидит.

И вышло бы все, как было задумано... Да, наверное, все так и вышло бы, к взаимному удовольствию, кабы не вмешался черт.

Как-то раз — весна была уже в самом разгаре — Иван нежданно-негаданно отправился к Вероне раньше обычного. То ли дело какое было, то ли, шагая деньденьской в поле за плугом, извелся, думая о невесте, не мог дождаться, пока зажгутся на небе звезды. Но, как бы там ни было, Верона в этот час жениха не ждала.

Шел Иван, напевал что-то радостное, веселое, прого-

няя усталость, и вдруг перед ним вырос Мнронко — сын старшей Веронииой сестры. Мальчик, как н положено, вежливо поздоровался, Иван спроснл, куда ои держит путь. Словоохотлнвый Мнронко сразу выложнл, что тетка Верона послала его передать запнску Шонию Коцуру. В подтверждение своей деловитости он сунул руку за пазуху и нзвлек оттуда тщательно сложенный лнсток бумагн с зубчиками по краям. Жеиих Вероны быстро пробежал глазами написанное. Сначала он сам себе не поверил. Но в следующую мииуту ему все стало ясио. Верона сообщала, что Иван, должно быть, нынче не придет, а коли и придет, она постарается поскорей спровадить его домой. Так что пусть Шоний поспешит в рощу, н там под тенистым тополем они всласть наслушаются соловьев и налюбуются луной. Напрасно Иван старался сложить листок так, как он был сложен прежде. Зато дал мальчику целую крону на конфеты. И приказал что есть духу бежать к Коцурам, ведь Шонний ждет не дождется записки. Да н ответ от иего задерживать не годнтся. А чтобы Мнронку за одну услугу не уплатилн дважды, парень велел передать Вероне, что рассчитался с ним ои, Иваи. Миронко был очень послушный мальчик — вернувшись от Коцуров, ои все подробно рассказал тетке.

Правда, Верона н ломаного гроша ие подумала дать ему — в тот вечер не пришлось ей ни на луну смотреть, ни голосистых соловьев в роще слушать. И женнх с ласковыми своими речамн не стоял с нею у калнтки в тот вечер...

Уж чего только не сулил Ивану Мариаш! Прибавлял к приданому лошадей, телегу, поле такое, что хоть целый день паши — не вспашешь. Да нельзя было остановить людскую молву о богачке, которая хотела оседлать двух коней, а пошла пешком...

Иван женился на Олене. Верона два года не выходила замуж, а потом н для иее нашлась пара. Но недолгим оказалось ее супружество. Муж был человеком болезненным, к тому же миого курил, стал пить. И отправился на тот свет раньше временн. Осталась Верона вдовой. И опять мало радостей дарила ей жнзнь... Видно, потому н вспомииала весь век Иваиа н корила себя за пустой, глупый свой разум...

Процессия приблизнлась к подножию горы, густо поросшей кустарником.

По крутой камеиистой дороге, омытой ливнями и та-

лыми водами, начали подниматься в гору юноши и девушки с венками, а затем на руках сыновей, зятьев и внуков поплыл на холм Иван. У него уже ничего не болело, ничего он не видел и не слышал, хотя чем выше змеилась дорога, тем все больше открывалось в долине Латорицы, у подножия гор, просторное, щедрое своей красотой село, и видны были будто заколдованные горы далекие и горизонты широкие.

Красные гроздья боярышника, сережки шиповника украшали Иванов путь на плоскогорье. Но больше попадалось темных кистей в зарослях бирючины, ее тонкие ветви причудливо вились, переплетались, и она казалась совсем черной.

Подъем был крутой, люди согрелись, взбираясь наверх, наконец все сгрудились на Джомбе — так называли холм и кладбище.

Тихий ветер.

Ветер гонит усталость, но тоску по Ивану прогнать и развеять ему не под силу. Висит над кладбищем небо, с ночи затянутое тучами. Горы высоко, далеко, и не видно им ни конца ни краю...

Музыканты с минутку передохнули, затем приложили к губам трубы и, хотя старший подал знак начинать всем дружно, заиграли вразнобой. Все стихло, приготовилось слушать, мелодия выровнялась, зазвучала плавно, плавно, потом громче, и вот уже музыка загремела так, словно все живое и неживое просило помнить Ивана до скончания века... Мучительная боль сжимала сердца при мысли, что, хотя жизнь вечна, все живое на земле временно и преходяще. Но это означало, что всякое живое существо в образе человека, размышляя о вечности, призвано заботиться о том, чтобы прекрасен был пройденный им путь и оставленное после него дело...

Именно тут, на холме, особенно остро ощущалась печаль, особенно проникновенно говорило все вокруг, напоминало, предостерегало, повелевало... Покосившиеся и еще не покосившиеся кресты, новые столбики и свежие кресты на могилах, столбики, скособоченные, выщербленные, обожженные солнцем, венки, облезлые, исхлестанные дождями, обесцвеченные солнечными лучами и ветром... Могилы, осевшие, провалившиеся, давно поросшие дерном, позабытые людьми... И медные трубы оркестра, которые не только вещают, но взывают...

Умолкли трубы, музыканты спрятали в карманы

мундштуки-пищалки. Исполнив свой долг, парни поспешно ринулись вниз с холма.

Отец Климентий неторопливо, с большим тщанием облачался в священные черные одежды с нашитыми на них серебряными крестами.

Сидорко бубнил слова молитв, ворочая их во рту так, точно это были горячие бобы, которые он впопыхах схватил с огнедышащей плиты, обжег язык и теперь не знает, как от них избавиться.

Отец Климентий зря времени не терял. Быстро пробормотал положенное и окропил святой водой разрытую землю — ради порядка и чистоты, ради вечного Иванова покоя и неизменного пребывания его в лоне холодном и сыром...

Погасшие угли и серый пепел из кадильницы отец Климентий вытряхнул в яму, и вид у него при этом был такой, будто это не только полагалось Ивану по обряду, но и было заслужено им всей долгой и многотрудной жизнью...

Отец Климентий копнул заступом землю с четырех углов могилы — на все четыре стороны света, намечая Ивану дорогу в вечность.

И низкорослый могильщик, убоявшись чудовищной силы смерти и небытия, принялся с лихорадочной быстротой засыпать яму. Глухо отзывалось вечное Иваново ложе под комьями земли, и дикий, жуткий страх обуял живых.

Сколько раз приходилось слышать отцу Климентию, как падает земля на крышку гроба, и всегда это было для него самым тяжелым. И, чтобы стало легче на душе, он поднял голову и посмотрел за светлевшие в вышине горы, точно сам готовился уйти в вечность, в безвестность.

Постоял так немного. И откуда-то из глубины его существа возник голос, взметнулся над кладбищем...

Пел не только он, не только Сидорко Штым что было мочи напрягал голосовые связки, стараясь быть услышанным, пели растроганные женщины, вступили в хор Ивановы побратимы, и голоса их звучали так проникновенно, словно в этот час прощания и разлуки они хотели утешить Ивана.

Жоно моя премила,
Обставайся здорова,
Я ся од тя розлучаю,
На дітей тя лишаю.

Діти мої премилі,
Обставайте здорові,
Я ся од вас розлучаю,
На мамку вас лишаю.

В этой песне слышалось завещание Ивана, в ней была не одна лишь печаль, в ней чувствовалась твердая воля покойного.

С полонины налетал тихий, безмятежный ветер, осторожно принимал песню на свои крылья, и, печалясь, уносил ее за горизонт...

У мужчины дома один угол.
Мужчина на работу, жена — дома.
Мужчина по делам, жена — дома
Мужчина в дорогу близкую, жена — дома.
Мужчина в дорогу дальнюю, жена — дома.
Потому что у женщины дома три угла.

Звон ложек, вилок и ножей, позванивание стаканов, бокалов и маленьких рюмок, звяканье тарелок, глубоких и мелких, суета женщин и повелительный голос сестры Терезы, грохот печных дверец, подбрасывание дров — надо же, чтоб еще что-то успело закипеть и свариться, перемещение горшков по плите, шум колеса и звяканье цепи на колодце — кто-то набирал воду, наконец, стук топора под навесом дровяника, неподалеку от окна той комнаты, откуда ушел Иван, — ничто не могло вывести ее из дурманного, тупого забытья.

Когда двор обезлюдел, когда процессия удалилась вдоль по улице, Олена под окном маленькой комнаты, выходившем на хозяйственную часть двора, увидела две стоявшие рядом скамейки — на них недавно лежал, глядя в небо, Иван. Она зашаталась, еле устояла на ногах и очутилась на опустевшем Ивановом ложе.

Очнулась. От резкого запаха уксуса пришла в себя и, точно в тумане, коснулась рукой сестры Терезы.

Сидела на диване. Чувствовала такую слабость, что казалось: вот сейчас свалится и уснет.

Но нет. Вспомнила, что надо принимать Ивановых гостей, что все для этого готовится, и куда только девались усталость и слабость.

Страшно болели колени.

Сперва хотела проводить Ивана в последний путь, но ее отговорили — не потому, что слаба, на гору не

взобраться, а потому, что дома нужна: кто же на Ивановых поминках всему лад даст? Куда там! Силы совсем оставили Олену, да еще обморок этот — пришлось довериться сестре.

— Тереза, сестра моя дорогая! — уронила она руки на плечи сестры. — Распоряжайся сама как знаешь... Лишь бы все по-людски, как Иван любил...

— Отдыхай, Олена!.. Все сделаем! Не будет к тебе Иван во сне с жалобами являться... — Младшая сестра готова была все взвалить на себя.

«Оленка-а!» — почудилось хозяйке последнее Иваново слово.

Не насчитаешь на деревьях столько листьев, а в поле зеленых травинок, сколько раз слышала она от Ивана свое имя, произнесенное с радостью и без радости, в хорошие дни и в плохие, в разные времена года... Но последний раз Иван выдохнул его так, точно не было на свете ничего важнее. Никогда раньше он не произносил так ее имя... Только один раз... И Олена знала, что именно это услышит она в свой смертный час.

Взгляд ее замер на голой груше, росшей у летней кухни, и спазм сдавил горло. Она закрыла руками лицо, словно желая прогнать видение. Но не могла. Видела все снова и снова. В тот далекий предвечерний час Иван шел по двору с огромным снопом соломы. Обхватил сноп, насколько хватало рук, и нес, даже босых ступней его не было видно. Будто соломенная гора сама двигалась по двору.

Улыбающийся, счастливый, несмотря на все заботы и усталость, Иван старательно выстилает ложе на полу в поставленной на скорую руку риге, которая все лето будет служить жилищем молодоженам.

Хаты тогда еще не было, только сруб стоял. Потом Иван до конца дней своих жил в этой хате...

«Было это или не было?..» — шептала Олена.

— Люди уже пришли! — вывел ее из забытья голос Терезы.

— Откуда?

— От Ивана!

Олена вскочила, взяла белые рушники — лежали, припасенные, на посудном шкафчике. Во дворе Ивановы побратимы медленно, тихо мыли и вытирали руки.

Кто-то зачерпнул воды, кто-то вскользь, но почтительно заметил, что этот колодец останется как память об Иване: сам копал его, сам укреплял... Кто-то поин-

тересовался, давно ли? Этого никто не знал, но по козырьку из дранки, позеленевшему, поросшему мохом, было видно, что колодцу много-много лет. Хозяйка, наверно, помнила, в каком году впервые добыли воду на их усадьбе. Но спрашивать ее об этом было неудобно. Наконец кто-то сказал, что не так уж важно, в каком году колодец вырыт, хорошо, что его вообще вырыли.

Гости Ивана сначала как бы неохотно входили в хату.

Переступив порог, каждый на миг невольно останавливался: в углу, прислоненная к стене, немо и глухо стояла палка Ивана. Они видели ее здесь и раньше, когда приходили с ним прощаться, когда Ивана уже обрядили и положили в гроб. Наверно, их поражало, что эту палку, с которой он никогда не расставался, не дали ему с собой в вечный путь.

Преисполненный чувства собственного достоинства, не вынимая из карманов ватника озябших рук, в светлицу вошел Сидорко Штым. Поглядел туда-сюда и тотчас направился к палке. Мгновение поколебавшись, взял палку за олений рог и ни с того ни с сего описал ею круг в воздухе. Его подняли на смех:

— Ох, Сидорко, будет вам Иван сниться!

— Будет за вами с палкой гоняться!

Холодом повеяло на Сидорка, палка будто примерзла к его ладони. Ну словно он без позволения выхватил ее из мертвой руки Ивана.

Штым, задрожав, ткнул палку в угол.

Ивановы побратимы, ближайшая родня, соседи тихонько рассаживались за столом. Держались все скованно, сдержанно, больше молчали, точно воротились после тяжкой-претяжкой работы.

Женщины подавали — кому не хватило — тарелки, ложки, вилки, поспешно протирали полотенцем стаканы. Народу было много, сидели тесно, то у одного, то у другого вырывался вздох — как эхо того, что свершилось на кладбище, как отзвук песни, которую отец Климентий на прощание пел для людей. Чудились в этих вздохах дыхание бубна и тихий-тихий перезвон тарелок в оркестре.

В комнате запахло сливовицей — ее разлили по бутылкам из двух огромных четвертей, все уже положили себе на тарелки закуску, что кому нравилось и кто сколько мог съесть после первой рюмки, и тогда встал ровесник Ивана, самый близкий его друг Гаврило Пет-

рашко. Говорить он был не мастер, к тому же заикался так, будто кто-то отсекал у него слова и пускал их камнем на дно. Постоял Гаврило, растерянно оглядывая всех, точно ему должны были что-то подсказать, в чем-то помочь, а может быть, даже спасти. И вдруг, словно по мановению невидимого волшебника, рухнула запруда и пошло и пошло. Побратим Гаврило говорил с Иваном как с живым, вспоминал детство, когда они бегали, светя голыми пятками и исцарапанными коленками, вспоминал их весны, лошадей, работу на фабрике, потом фронтовые кровавые дороги на службе у цесаря, не забыл, сколько раз менялись в старину государственные режимы — как приходили, так и уходили. С уважением говорил о том, как Иван вил свое гнездо, покупал землю, пахал, сажал и сеял. Рассказывал, как он любил Ивана, советовался с ним и теперь тоже, начиная любое дело, большое и малое, будет думать, с какого боку приступил бы к нему Иван.

Гаврило умолк, но продолжал стоять. Чтобы поминающие, не теряя зря времени, дружно взялись за дело, Гаврило держал бокал так, будто выглядывал за столом того, с кем должен был чокнуться и кому должен был поклониться.

— Вечная память!.. Светлая память Ивану! — прижал он руку к груди. Но почему-то не спешил выпить. И не садился. Точно обращался Гаврило не ко всем присутствующим, а говорил сам с собою. Тихо вязались слова.

С тех пор как стоит этот дом, без Ивана тут гости не сиживали.

Не сидели в этой хате, за этими столами без Ивана.

Потому что не было в этой хате вдовы и сирот. Отныне будет здесь вдова и будут сироты...

Сын на этом месте построит новую хату. Наверно, она будет больше, светлее. Но в новой хате никогда не будет так, как было в старой.

Сюда будут приходить Ивановы дочери и сыновья. Будут приходить не так, как приходили при отце. И сами будут уже не прежние. И все будет другим...

Гаврило поднес ко рту стакан, залпом выпил и сел.

Все молчали, еще минуту молчали, а потом языки развязались, и скоро в комнате стало шумно.

Олена примостилась у самых дверей, чтобы всех видеть, и все говорила-говорила со свахой Василиной. Давно не виделись.

— Силы небесные! До чего болезнь может довести человека!.. — Олена точно оцепенела, помолчала задумавшись. — Как его, бедного, трясло... Я думала, всю душу вытрясет!.. Посоветовались мы и решили, что надобно ему еще раз кровь перелить — знаете, человек рад каждому дню жизни... И то сказать: каково нам здесь, мы знаем... Хорошо ли, худо ли — это здесь, а уж там — это там!..

— Ой, верно, верно... Кто ж его знает, как оно там, коли оттуда еще никто не возвращался, ничего не рассказывал... — поддержала вдову сваха Василина. И приготовилась слушать дальше.

— Ну и приехали из Ужгорода двое на машине с красным крестом. И шофер им помогал... Сперва думали, кровь примется — моего на сон потянуло. А потом как началось, как началось... Такой трясучке впору вытрясти душу из здорового, а уж что говорить о хвором человеке, которого болезнь измотала, да которого без конца лекарствами пичкают. Понял бедняжка Иван, что напрасно он позволил перелить себе кровь. Да было поздно...

Свахи замолчали. Из-за стола, который стоял у стены, выходившей на улицу, один за другим поднимались гости, чтобы помянуть Ивана. Казалось, уж все было переговорено, все сказано, но люди опять и опять просили слова. Говорили о мостах, которые Иван строил, о хатах, которые Иван ставил, о дорогах, которые он прокладывал. Кто-то вспомнил, как возводили в селе большую школу и Иван работал на стройке за мастера, а мастером он был не каким-нибудь, а таким, с которым даже инженеры считались. Потом зашла речь о тех, кого Иван обучил разным ремеслам...

— А уж какой рачительный да хозяйственный был!.. Это мне одной ведомо! — дернула Олена сваху за рукав — все никак не могла выговориться. — Вон и сливовицу пьют ту, которой он сам запасся. Когда понял, к чему дело клонится, велел купить для поминок, чтобы ни у меня, ни у детей хлопот не было. Еще сам, помню, попробовал ее на вкус, хотел знать, какая она, не любил угощать бог весть чем...

Это проняло сваху Василину до слез, а глядя на нее, и Олена заплакала.

— Что поделаешь... Похоронили вы Ивана с почетом, семья у вас хорошая, все ее уважают... Вы должны жить для семьи, ведь вы теперь самая старшая, вы

мать... Вы нужны им... А ему пусть во веки веков земля будет пухом...

— Да ведь мог бы жить и радоваться... Слезы так и текут, как подумаю... Просил, чтоб я напоследок показала покрывало, которое постелят ему в гроб... — никак не могла успокоиться вдова.

— И показали? — встрепенулась сваха.

— Как же я могла такое сделать? Но что правда, то правда — лежало оно в хате не для жизни, а для вечной разлуки... Я заранее постаралась, чтобы все по-людски было...

— Ой, верно, дорогая сваха. Человеку на земле всего хватает — и ясных дней, и темных ночей... И весны есть, и зимы... — Свахи тоже подняли рюмки, пригубили. Почувствовали, как по телу разлилась слабость, но зато разговор пошел куда живее.

В хате нарастал шум.

То здесь, то там ненароком вспыхивал смех. За столом, где сидели Ивановы внуки и соседская молодежь, парни бросали ехидные взоры в угол светлицы: там упорно и рьяно боролся со сном — клевал носом, похрапывал и внезапно просыпался — Сидорко Штым. И все-таки не устоял, свесил голову налево, скособочился всем телом, распустил губы, причем нижнюю оттопырил как нельзя больше, словно собирался что-то лизнуть. Людям постарше слабость дьячка была хорошо известна, они делали вид, будто ничего не слышат и не видят, дескать, все мы не без греха! Сидорко оплошал, залпом опрокинув полный стакан. Подумал: почему же их с отцом Климентием не угощали этим напитком, когда они приходили соборовать Ивана? И тут ему сделалось страшно при мысли, что такой замечательной сливовицы уж, конечно, не хватит, чтобы поить ею гостей весь вечер, и потому он взял и налил себе второй стакан. Через четверть часа его так разморило, так разобрало, что не было сил даже закусывать, даром что сосед уговаривал поесть побольше.

В хате Ивана настала тишина. Из маленькой комнаты доносилось позвякивание посуды — у кухарок еще дел было невпроворот. Но и там как-то сразу все смолкло.

Люди поднимались из-за столов.

Пожилые вставали бесшумно, точно, и в движениях их заключалось сосредоточенное спокойствие. Казалось, они вот-вот начнут прощаться и уйдут, чтобы хозяева

могли отдохнуть. А вслед за ними уйдут более молодые, хотя как раз среди них-то и были такие, которые только вошли во вкус и озирались, из какой бутылки налить бы себе еще.

Все стояли.

Из-за того стола, где любил сиживать с добрыми друзьями Иван, невидимой птицей взлетела, покидая гнездо, песня:

Чуеш, брате мій,
Товаришу мій...

— Боже, он только ее и пел!.. — дернула Олена сваху Василину, шевеля губами и утирая рукой глаза...

И такая мольба звучала в песне, что все, кто был в хате, устремились в светлицу. Кому не хватило места, замер на пороге.

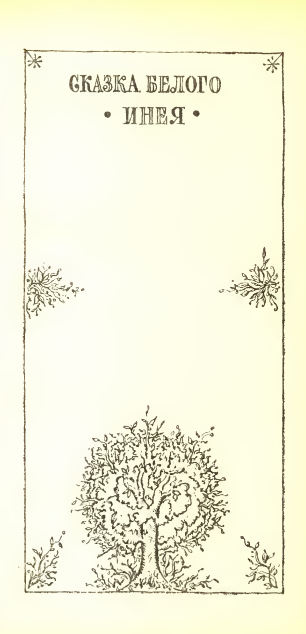
С минуту было тихо-тихо, точно кого-то ждали, точно после слов «товаришу мій» кто-то должен был войти.

Печально и горько уплывало в холодные сени на высокой ноте:

Відлітають сірим шнурком
Журавлі в вирій...

Клич «кру-кру» вырывался стоном и внезапно камнем падал на промерзшую землю.

На ночь с вдовой в хате остались дети...



СКАЗКА БЕЛОГО ИНЕЯ



Родные края...

И свет земной, что многолико открывается в красе своей, чтобы не только быть рядом до конца дней твоих, но чаровать и наполнять душу высоким смыслом труда на отцовском поле, чувством сопричастности тому великому, неизбывному, что зовется любовью к отчему дому.

Тут понял ты чудо прорастания трав и буйство цветения.

Тут радовался громыхающим грозам и ласковому летнему дождику.

Тут манящим волшебством золотых листопадов приходила к тебе звонкая осень.

Тут одарила тебя сказкой белого инея студеная зима.

И бесценным сокровищем навсегда останется она в памяти, какие бы дороги ни ждали впереди: дальние, ближние или те, что совсем рядышком, здесь же, в родимых краях. Все это твое, как бы ни сложилась судьба, ярко и счастливо или обычно и неприметно...

И разве не в этом таится истинная, непреходящая мудрость бытия, неотделимая от мира твоей души?

И разве не достойно все это нашего внимания?

Памяти матери моей Василины — несравненной ее душевной красе...

НАЧАЛО

За горловиной печи, прикрытой заслонкой, доспевали пшеничные паляницы, и оттого вся хата пахла свежим хлебом.

Было радостно и домовито, будто стоял на пороге большой праздник.

Наклонилась к печи, да и замерла так, загляделась

на угли, что розовели за буханками — корочки на хлебе аппетитно подрумянились и ровно приподнялись. Сглотнула подступившую слюну и вдруг почувствовала, какой тяжелой усталостью налились занемевшие ноги.

Выпрямилась с трудом, словно поднимала через силу невидимый груз. Присела, чтобы чуток передохнуть. Напрасно день с утра казался длинным, быстро пробежал — в работе и хлопотах не успела и оглянуться... Великое множество таких дней ушло-уплыло в неизбывных трудах, и, кажется, ни один среди них не был пустым, без дел и забот.

А вот нынешний выдался особенным — и по мыслям, одолевавшим ее, и по странному беспокойству. Возникло что-то в неведомых глубинах, то появляясь, то исчезая, и вдруг нахлынуло волной, заполонило душу... За что ни бралась, куда ни шла, с кем ни затевала беседы, все время ощущала непонятное волнение и сдерживалась, чтобы не показать его.

Кто поймет?

Недвижно лежат на коленях руки — телу нужен отдых, а он всегда начинался для нее с рук, ведь и усталость приходила к ним первым. Даже вздохнула с облегчением.

Правду говоря, мыслями унеслась далеко-далеко от дома. Шла одна-одинешенька дорога от Усть-Черной к Русской Мокрой по ущелью межгорья, что тянулось к небу зеленеющими склонами убогих полосок, обрывистыми тесными пастбищами с обочинами, заросшими густым кустарником.

И бежала ей навстречу Мокрянка, то неуемная в шумной щедрости хрустальных брызг, то таинственно отражающая в тихих заводях и глубоких промоинах лазурь весеннего неба. И густой еловый бор, молчаливый, затаившийся, дышал влажной свежей прохладой, темнел стройными стволами, только кроны их в недосягаемой, казалось, вышине пронзали небесную синь...

Оглянулась на старика, что спокойно дремал на дощатой лежанке. Давным-давно назвала его так, теперь и не вспомнить, когда неожиданно и незаметно впервые сорвалось с языка это слово. Нужно бы сказать ему о дороге, в которую собиралась, вот только пусть хлеб поспеет... Да как представила — все равно ведь не сдвинешь человека с места, — так и передумала, словечка не проронила. Да и то! Узнал бы о ее заветном жела-

нии — куда и зачем пускается в путь, — может, и высмеял бы...

«Видать, умный был тот, кто сказал: отцов — словно воробьев, а мать одна!» — подумала, на том и успокоилась.

Старик дышал тихо-тихо. Сон его был спокойным, глубоким. Радуется она — слава богу, уже две недели муж не жалуется на детей, не попрекает их, не препирается из-за всякого пустяка, — как же мало ей нужно, чтобы быть счастливой! Готова благодарить за это, как за подарок к празднику всей семье, да и хозяину самому...

И ласково поглядела на лежащего, кроткие ее глубокие глаза светились добротой.

«Натрудится за день, гнется, слепнет над книгами. А все работа! Только, бедняга, и присядет отдохнуть, когда ноги совсем не держат...» — подумала и посмотрела на длинную сбившуюся прядь седой бороды старика, лежала она, как пышный сноп, поверх полосатого лижныка — покрывала. «Такая могучая, может, только у одного Самсона и была!» — отчего-то вспомнила легенду про того, кто дал соблазнить себя филистимлянке Далиле, а потом так жестоко отомстил за надругательство...

Прикрыла глаза.

Но отдых вышел минутным. Тут же вскочила и бросила тревожный взгляд на часы — не проспать бы поезд.

Время перевалило за полночь. Значит, наступал такой памятный для нее день, он был не менее радостным, чем самые большие, самые великие праздники.

Как водится, в дни эти никогда не работала. Так было заведено с самого детства и со временем стало не просто обычаем, а непреложной истиной ее бытия. Приходил праздник, и все, что делалось руками, прочь! Разве что корову напоить-накормить, животному тоже нужно светлый день иметь. Кони да волы, как и люди... Отдыхают. Но есть-то им положено, когда по времени года не на пастбище, а в стойле пропитания сами себе не добудут... А еще, упаси бог, хлеб на ночь в печи оставить! Управиться со всем нужно загодя, до первой звезды на небе. Но сейчас хлопотать допоздна не грех — именно хлеб и дарует сегодня праздник.

— Хлеб наш насущный... — прошептала и задумалась. Чувство щедрости жизни охватило ее, представи-

лись выложенные в ряд на длинной скамье паляницы с золотистой корочкой, и явственно ощутился тот единственный, ни с чем не схожий аромат, который наполняет хату, когда печь еще дышит теплым хлебом...

Глаза защипало, словно попали в них крупинки соли. Зажмурилась, и снова подкралась дремота — приляг на минутку, и сразу сморит. Так не только хлеб перепечешь, так и поезд проспать можно. И придется тогда самой шагать через четыре села. Смолоду, правда, ходила... Подумала, что вот, мол, нет уже прежних сил, и вдруг сон как рукой сняло, и пришла откуда-то такая бодрость, будто подарили ей, по крайней мере, две спокойные ночи для доброго отдыха...

Вышла во двор поглядеть время по звездам да проверить, где плывет сейчас ночь... Старый будильник то спешил, то останавливался, разладился еще с зимы, решила было однажды отнести его горбатому Антону Мадаре, чтоб починил. Был человек простым крестьянином, а во всяких механизмах разбирался не хуже ученого. Положила будильник в корзинку и хотела уже идти, а он как затикал, как зазвонил словно оглашенный, испугался, видно, что уносят из дому! И представить такого не могла, себе даже не поверила! Когда угомонился, приложила к уху — не обманывает ли, часом? А он: тик-так, тик-так! Решила проверить, переждать денек-другой, а лучше недельку — не остановится ли опять? А он разошелся и тикает весело, будто новенький. «Вернулась к старику молодость!» — усмехнулась, но больше ему не доверяла. Потому и вышла из хаты, чтобы глянуть на небо и звезды.

Тихая горная ночь дышала прохладой, ветерок доносил терпкий аромат цветущих черешен. Там, на холме, неподалеку от хаты, высилась белоснежная громада старых черешен — птичьих кормилиц, названных так недаром — только птицы доставали ягоды с верхних раскидистых ветвей. И за это тоже любили старые деревья, не рубили, хоть в их огромной тени трава росла совсем чахлая...

Будто поджидая кого-то после дальней дороги, остановилась у огорода и вгляделась в ночную тьму: не покажется ли с той стороны усадьбы желанный путник?..

И вдруг померещилось, и вправду шагает ее Микола по дорожке мимо черной ольхи, что росла на меже. Вернулся с заработков в далеких краях и не видел еще

близнецов-первенцев своих... Вышла ему навстречу в ту пору молодая жена, хотела подбежать ближе, да боязно было отойти от хаты — оставила там детей в колыбели. И что, казалось, могло с ними приключиться, а все же... Но путник уже увидел жену и сам прибавил шаг...

Припала к мужу, обняла, прижалась, и к аромату черешни, к свежему дыханию зеленей добавился из каждой складки его одежды запах смолы-живицы, густой, все пропитавший дух колыбы *, долгую зиму служившей кровом лесорубу.

Какой ласковый, какой нежный был после долгой разлуки...

«Господи! Как давно это было... А видится, будто вчера...» — вздрогнула, прогоняя воспоминания о той давней встрече с Миколой, когда ушел он впервые из дому на заработки. Осталась одна-одинешенька с тем, кто должен появиться на свет, и вдруг оказалось их сразу трое — родились у нее на великую радость близнецы...

Задумалась, глядя на Ясеневую.

Яркий месяц над горой округлился, стал широколицым и уставился на землю так, будто именно в эту тихую позднюю пору особенно хорошо было оглядеть с высот небесных и полонины, и холмы, покрытые лесом, и поля, что теснились среди расступавшихся гор. И залюбоваться убаюканным майской ночью селом Дубовым, спящим в долине звонкой волшебницы Тересвы...

«За полночь перевалило. Самое время хлеб из печи вынимать. А тогда и в путь...» — подумала и заторопилась к хате.

ОРЕХ

Шагала по меже, перебросив через плечо домотканую, из крашеной шерсти торбу, невыстывшие пшеничные буханки грели сквозь нее спину.

Но только подошла к месту, где черная пашня граничила с зазеленевшим полем, как снова давней болью, давними слезами отозвалось в памяти далекое прошлое.

* Зимний шалаш лесорубов.

Почему оно ожило вдруг?

Что почудилось?

Пошла быстрее, словно хотела убежать — пускай не вспоминается такое в добрый час! В праздник нужно думать о радостном. Горькое прочь гнать. А ведь сегодня у нее и вправду великий праздник: каждым движением своим, каждым шагом по этой дороге, каждой мыслью шлет она благословение своим сыновьям, желает им здоровья, достатка под мирным небом и многих-многих счастливых лет... И знает, материнские пожелания самые благодатные на свет. Такими они были и пребудут вовеки...

И кажется, ушло-уплыло все, не оставив следа, будто и не было его вовсе... «Сколько раз приходилось ходить по этой тропинке и в зной и в холод... А давняя вражда, покрытая забвением, вроде не должна была бы и вспомянуться, как не могут явиться на землю те, кто давно погребен в ней. Ан нет! Видно, память человека — не могильный холм! Все в ней остается живым, и даже время не властно ни приглушить, ни притупить старую боль. И наступает недобрая минута, когда прошлое вдруг оживает и снова ранит душу...»

Замедлила шаг возле кирпичного дома в конце усадьбы — здесь живет младший сын с семьей. Не предупредить ли, часом, невестку, что собралась в дорогу? Пусть присмотрит за стариком, приглядит по хозяйству. Но поняла, поднимет молодых глубокой ночью, разбудит и ребятишек. Испугаются, расплачутся, какой уж потом сон! И решила никого не тревожить, да и знала сама, позаботится невестка о порядке в доме, коли отсутствует старшая хозяйка...

Тропинка вела мимо старого ореха. И он словно глянул на нее...

Могучий ствол белел растрескавшейся корой. На фоне бархатной синевы звездного неба виднелась причудливо скособочившаяся крона — безжалостное уродство старости... Налетела прошлым летом нежданная буря, разлила мутные потоки там, где их сроду не было, задула таким шалым ветром, что рушились с треском деревья, и не устоял древний орех. Отломилась от могучего ствола огромная ветка, упала на землю, забросав все вокруг листьями и сучьями. Долго еще белели раны искалеченного дерева, потом со временем потемнели...

Так и стоял калека орех. Дедовский обычай гласил:

пока плодоносит хоть одна ветка, жить дереву и зеленеть на радость людям. Его не выкорчевывали, не рубили...

«Юр... Бедняга... Простить бы тебе... Уж таким беспокойным и суетным был человек, таким злобивым...» — шептала, торопясь отойти от ореха — под ним, казалось, затаилась особая, тревожная тьма.

«Из-за ореха тогда все и вышло, разгорелась ссора, чтобы тлеть потом всю жизнь... Бедняк с бедняком на пустом месте причину для раздора найдут. Так с ним и до края могилы доберутся...» — явственно вспомнился ей день далекой поздней осени, когда пришло время сбора грецких орехов и на этом дереве тоже поспел урожай.

Старая отцовская усадьба с немалой пашней, буковой рощей и садом на пригорке была уже нарезана и поделена между детьми, когда младшей после свадьбы достался надел с орехом. Может, только он и был той главной ценностью, что соблазнила зятя Юра. Ведь дерево не просто украшало межу своей раскидистой зеленью, но и одаряло крупными орехами так щедро, что хватало и для себя, и на продажу...

И в тот осенний день трещали ветви с раннего утра. Пока Юр управлялся на верхушке, молодая жена, стоя внизу, показывала ему длинной хворостиной, куда тянуться за теми плодами, что укрывались в листьях. Уже собрали хозяева два мешка, уже отбарабанили орехи по траве, густо покрыв ее, а Юр все колотил и колотил жердью. Вот уж подлинно неуемная жадность! Не так от дедов-прадедов было завещано; когда крестьянин собирал яблоки, тряс грушу-дичку, сбивал урожай орехов, из века в век оставлял он на ветвях малую толику для птиц и диких зверей. Неписаный это был закон, даже не гласный, но, освященный временем, исполнялся свято. А Юр... Несуразный человек!

Хозяева старательно собрали все под деревом, пошарили на всякий случай и среди ольхового кустарника — не закатилось ли что сюда ненароком, зачем же добру пропадать? И, когда все уже было обыскано и найдено, затарахтела добыча на возу по каменистой улочке, она бежала в конце усадьбы через ручеек и вела ко двору Юра.

Все, что в тот день делалось у ореха, Миколе отлично было видно из его хаты — она, тоже полученная в приданое, находилась посередине надела, а орех зеленел

неподалеку у межи когда-то просторной усадьбы одного хозяина.

Не скажешь, почему — и полакомиться не хотел, и набрать орехов к празднику не собирался, — но после ухода Юра взял зачем-то Микола жердь да жестяное ведерко и направился к дереву. Ей-богу, сам не объяснил бы этот поступок! А может, и в нем заговорила хозяйская бережливость, подбирающая крохи? Прислонил жердь к стволу и стал топтаться босыми ногами по листьям у дерева, не нащупает ли, часом, орешек, упущенный свояком из богатого урожая.

Долго ходил, терпеливо и нашел-таки несколько штучек. Ободрал зеленую кожуру, кинул в ведерко и стал для чего-то прохаживаться рядом. Вроде бы показывал кому-то: гляди, и ко мне пришла щедрая осень, вон, тарахтят ее плоды... Оглядел ветки, увидел оставшееся чудом, но жердь так и не поднял, уверенный, что это оставлено птицам. Впрочем, мысленно похвалил свояка за хозяйскую рачительность и с грустью посмотрел на едва прикрытое донышко своего ведерка. Может, надеялся все-таки еще найти?

Не спеша отправился к своей хате. Ведерко оставил у порога, а жердь, которая так и не понадобилась, понес, чтобы положить на место.

Только успел заткнуть ее под стреху, как нежданно-негаданно увидел на подворье не кого-нибудь, а самого тестя Федора!

Мудрый, спокойный человек, кроткий, как голубь, верный помощник не только своим детям, но любому, кто нуждался в его совете, сейчас тесть был мрачен и гневен.

— Хочешь калачей с орехами, сам дерево посади! На чужое не зарься! У тебя свой надел, у Юры свой! — Он говорил с трудом, будто горло перехватил мороз.

Ничего не понимая, она испуганно смотрела на отца.

А Микола не знал, куда деваться от позора.

Только спохватилась, чтобы пригласить отца в хату, как он, не сказав даже обычного «будьте здоровы», покинул подворье.

Застыла как вкопанная. Глаз не могла оторвать от дорожки, отец шагал по ней так, будто земля отталкивала его. Но когда остановился под орехом, поняла все без слов. Выходит, бегал Юр жаловаться тестю. И старик пришел вершить суд.

Микола схватил ведерко со злополучными орехами

и побежал к меже. Высыпал под деревом жалкую кучку и вернулся домой, вроде бы загладив вину.

Следующие трое суток были для них глухи и немы. Пыталась изредка Василина что-то спросить, пыталась завести разговор, но муж молчал. И не было уже у него в глазах ни злости, ни обиды, ни даже малой неприязни к Юру. Будто вкусил Микола от всех плодов древа познания добра и зла, и вырастил их человек, который был женат на сестре его жены... А наука выдалась такой горькой еще потому, что призвали в наставники самого тестя Федора, степенного, рассудительного хозяина, которого Микола любил и ценил выше всех...

Шли годы.

Юр не переступал порога Миколы. Микола не переступал порога Юра. Сестры, правда, злобы не таили, а все же образовалась и в их горшках трещинка... Да и каково им было, ведь обе пришли в мир из одной колыбели?

ТРЕВОГА

«Бедность со скупостью и злобой в одной упряжке ходят!» — сказала про себя Василина, подойдя к станционному штакетнику. Открыла калитку; кто-то давно проделал ее здесь, чтобы шли люди к вокзалу прямиком через пути вопреки правилам.

Всю дорогу вспоминала ту далекую осень, никчемную горсточку орехов, мужнину простоту и разгневанного добряка отца, пришедшего вершить правый суд!

Вспомнила и мужа своей сестры. Какой крепыш был, какой силач! Казалось, сделан человек из чистого металла... Любую работу мог одолеть, любой груз взвалить на плечи. Припомнилась ей и та ранняя весна, когда Юр на своем участке, что прилегал к меже с орехом, рубил ольху на дрова — топливо, видать, кончилось, из леса не привезешь, а взять у себя сподручно.

Шла от родника с полными ведрами и застыла в удивлении, увидев, как Юр пытается взвалить на плечо ольховое бревно. Он напрягался, надсаживался и никак не мог оторвать его от земли... Подумала ненароком: швырнет Юр непосильный груз, разрубит, отчаявшись, на куски и так отнесет домой. Куда там! И где только

берется такая силища? Поднатужился, рванул бревно, поднял и пошел, пошел, только ноги пружинили так, будто вот-вот кости погнуться... «Тьфу ты, господи! Ну и здоров! Не сглазить бы!»

Но и такой силе пришел конец, когда стал Юр все больше и больше пропадать в корчме: то у Ноя Гофмана, то у Менделя Гинды... А однажды, было дело, до родного порога и теплой постели не добрался, в овраге заночевал.

Про все сестрины беды знала и, когда Микола заколол кабана, захватила кусок парного мяса и пошла навестить родню.

Сестра обрадовалась, видно, не так гостинцу, как доброму вниманию, люди в беде воспринимают все глубже, сердечнее... Посмотрела с благодарностью на гостью, а в глазах таилась безмолвная печаль. Да и как не быть ей, если здесь же сидел Юр — ссутулил плечи над столом, оперся не на прежние могучие руки, а на две иссохшие палки...

«Вот тебе, горемыка, и орехи! — некстати мелькнула досадная мысль. И еще: — Приходит время на этой земле, человек, когда всем сыт становишься...»

Таким стал Юр в затяжной, неизлечимой болезни, и ничто на свете помочь ему не могло... И в хмурый ноябрьский день уже лежал, бедняга, на смертном одре...

Сейчас, в этот поздний ночной час, вспомнился невольно и Микола в толпе, что собралась на усадьбе Юра на панихиду за упокой его души — проститься и проводить в дальний путь...

Стало зябко от нервного озноба. И заторопилась, хотела побыстрее выбраться из глухой темноты у стен станционной бани. Видно, пугали не только воспоминания, но и сама баня — давно заброшенная, зияла она черными проемами окон, дышала сыростью и запустением.

Удивил пустой перрон. Подумала, верно, сидят люди в зале ожидания, и направилась туда. За порогом сразу же обдал ее густой запах карболки и известки. Огляделась, увидела, что здесь тоже никого нет, и вышла, бросив двери открытыми, — пускай проветрится... Но спохватилась и вернулась — еще отругают за тепло, выпущенное на ветер!

Прислушалась, не храпит ли кто. Ведь люди спят по-

разному: кто тихо, а кто будто трудится... Но и храпа не было слышно.

Лунный свет сюда не проникал, лампа не горела, и рассмотреть углы она не могла. Нет, все же ни души не видно! Неужто слишком рано пришла на станцию? Неужто подвел верный ее будильник — месяц над горой? А вдруг поезд на Усть-Черную давно ушел? И огляделась испуганно.

Сквозь неплотно завешенное окно в зал ожидания тонкой полоской проникал свет из комнаты дежурного по вокзалу.

«Постучать в стекло, спросить?» — заколебалась. И все же знала, не могла она опоздать на поезд. Вчера еще дотошно расспросила диспетчера про нужный ей пассажирский поезд из Дубового на Усть-Черную. Сказал, что отправляется после полуночи. Глянула на звезды, убедилась, что времени полно, и тут же попеняла себе: чего так спешила из дому, могла ведь сделать что-то полезное перед дорогой...

Вышла на перрон, и почудилось, ползет за ней следом из зала тяжкий дух. Но только прошелестел ветерок в станционных осокорях, качнул ветви елей у вокзала, как сделалось вокруг свежо и чисто. Здесь дышалось легко, свободно, хоть и прохватывал холодок — в долину Тересвы он проходил со студеными ветрами полонин не только в мае, но, бывало, и в разгар лета...

— А, это вы, бабушка? Не спится? Путешествовать задумали? А чего деда не сторожите? — на пороге служебного помещения неожиданно возник худощавый невысокий человек, дежурный диспетчер.

Задержалась на минутку с ответом. Но встрече обрадовалась. Все-таки не одна на ночной станции.

— Это вы, Яков? Дай вам бог здоровья и счастья!

— Лучше кучу денег пожелайте!

— А тогда что?

— Тогда не только здоровье будет! — ответил тонким писклявым голосом. Не знала бы Якова, подумала: баба в штанах и в форменной фуражке.

— А я, сынок, думаю: будешь здоровым, и деньги придут!

— Черта мне лысого с этого здоровья, если лишней копейки нет! — деланно хорохорился диспетчер. Обрадовался, видно, что можно хоть с кем-нибудь поболтать, отогнать одолевающую дремоту.

— Можно, милок, деньги заработать, а здоровье при

том загубить! — не согласилась она. Ответила со спокойным достоинством, свойственным много прожившему и пережившему человеку. Впрочем, ни к чему была ей болтовня диспетчера, и потому спросила о существенном: — А скажите, Яков, поезд на Усть-Черную скоро придет?

— Да вы, бабушка, его с дедом проспали. — Яков усмехнулся и вроде бы стал любезнее. Он лениво шарил в карманах, штаны его от постоянного сидения пузырились на коленях. Надоедало диспетчеру многочасовое дежурство, нудился он за служебным столом и теперь развлекался немудреными остротами.

— У вас только шуточки на уме... И дед ни при чем, если я поезд проспала! Ни капельки он не виноват! Скажите правду, ушел, что ли, поезд? А может, опять смеетесь?

— График этой ночью изменили. Поезд из Дубового вышел раньше, чем вчера, на час и семнадцать минут, — добросовестно объяснил Яков, словно почувствовал себя виноватым и хотел загладить доброй беседой неприветливость при встрече.

Сразу не смогла ничего понять. Вчера специально зашла на станцию, чтобы проверить, когда идет ночной поезд на Усть-Черную. Диспетчер, которого сегодня сменил Яков, назвал прежнее время. А мог же человек ответить как следует, чтобы она знала час и не спешила понапрасну? Даже озноб пробежал по спине от обиды на него, хоть ночь была теплой, хлеб по-прежнему согревал плечо и вкусно пах.

Помолчала виновато, словно причина была в ней. И подумала: зачем сердиться на кого-то, откуда мог знать вчерашний дежурный, что именно сегодня выберется она в Усть-Черную? Право, легче жить среди людей, когда не ищешь виноватого, чтобы оправдать себя... И ей стало легче.

— Через час-полтора подадут порожняк в вашем направлении. Один вагон будет крытый, вот и отправитесь. — Яков хотел успокоить ее, словно догадался, о чем она сейчас задумалась.

Возвращаться домой не имело смысла. Устроилась на скамье, сжалась в комочек. Сон куда-то исчез, даже дрема не клонила, пришла откуда-то такая бодрость, словно не было позади дня, вечера и ночи, до краев наполненных домашними хлопотами-заботами...

Неожиданно где-то рядом раздался хриплый крик

петуха, решил попробовать голос, да не вышло, сорвался. Но его услыхали ближние и дальние соседи, и тишина лунной ночи сразу же огласилась таким залихватским кукареканьем, словно пришло наконец время показать во всей красе его звонкую силу. Молодые петухи без должного умения заголосили крикливо, наперегонки, заглушая старых, но те, солидные, опытные, не суетились и с достоинством исполняли свои партии — они пели! По ним и можно было определить не только направление звука, но и какой наступил час после полуночи...

Задумчиво вслушивалась в петушиную перекличку — то ли хотела развлечься, то ли отвлечься? Да и просто любила голоса всех живых существ, они внушали уверенность, что человек не одинок, даже если рядом нет ни души.

И вдруг вздрогнула от холода, мурашки пробежали по спине, по ногам. Встала, переложила поближе торбу с хлебом и придержала рукой, будто боялась, как бы не подкрался кто исподтишка, не утянул бы, хоть отродясь никто на Дубовом не помнил, чтобы случилась на станции кража.

Пробежался по перрону, явно для бодрости, диспетчер. Двери в дежурку оставил открытыми, чтобы слышать телефонные звонки. Громко зевнул, исполнил, подпрыгивая, неведомый танец, но тут же вернулся в свою комнатушку.

Крепко зажмурила глаза. Оттого что не просто видела вагоны, стоящие на четвертой колее, не просто чернела перед ней на фоне звездного неба древняя груша на дорожке, ведущей к дому... А потому, что все это, зримое и знакомое, внезапно обернулось другим и поплыло так колдовски — не зажмурь глаза, наверняка упадешь...

«И тогда такая же ночь была... И петухи так же пели... И так же молчаливо стояли вокруг годы...»

Перекличка петухов, ночь на знакомой станции среди гор вдруг вернули ее в далекое прошлое. И ожили в памяти, будто случилось это вчера или даже сегодня, те давние ее мысли и тревоги, и снова, как тогда, ранили жестоко. Невольно подумала о материнском сердце, которое все должно вытерпеть, вынести и вместить в себя боль справедливую и неправедную, заслуженную и без-

винную... И суждено ей с этой болью жить и мучиться до последнего своего дня и последнего дыхания на земле...

И встала перед ней, наполнилась тревогами далекая майская ночь, разбуженная такими же бессонными петухами...

Сначала послышалась под окном чужая речь. И тут же стук в дверь.

Вскочила с постели. Застыла посреди хаты. Пыталась сообразить: «Зажечь лампу? Не зажигать?»

Ни муж, ни дети ни перед кем не провинились. Чего в таком случае пугаться?

А сердце билось в тревоге...

В дверь заколотили сильнее.

— Кто? — спросила она тихонько, чтобы не разбудить детей.

— Открывай! Чего боишься? — крикнул знакомый голос.

«Это же звонарь! Томаш Бульбаник!» — мелькнуло в голове. Все знали, не только колоколами занят был звонарь... После развала республики Бенеша и Масарика, как только появились в долине Тересвы новые господа, он быстро раздобыл при них работенку...

— Это вы, Томаш? Детей не напугайте! — отозвалась, хотела отпереть дверь, но спохватилась — прежде нужно зажечь свет.

— Не бойся, никто тебя не съест! Открывай, не задерживай господ!

Ощупью искала спички, коснулась припечка, и коробок свалился на пол. Торопясь, шарила обеими руками. И когда поняла, что не только перед звонарем, но и перед чужими господами покажется в одной сорочке, испугалась и стала натягивать юбку. Послышалась ругань на чужом языке. Хотела крикнуть: «Горит, что ли?» — но сдержалась. Знала, право и закон у этих хозяев не для нее...

Звонарь, присматриваясь, как-то странно дергал щеточками черных подстриженных усиков и шарил по комнате юркими маленькими, как пуговки, глазами. Угрожающе уставились на женщину штыки двух жандармов самого регента Хорти.

— Дома все? — незваный гость оглядывал комнату.

— Не кричите так... Дети спят... — Показала на широкую дощатую кровать, где, словно колосок к колоску, сгрудились малыши.

Бульбаник пристально смотрел на них, пытаясь в сумерках хаты пересчитать и сообразить, кого же нет на месте.

Если хочет понять свой, возможно, поймут и чужие, жандармы тоже стали рассматривать лежак с детишками.

— Знаете ведь, что муж в лесу, на работе... А хлопцы под Ясеневой, коров пасут. Только мелюзга дома...

Распахнули двери в светлицу, взрезали фонариками ночную тьму в углах и выругались сердито, слушая, что втолковывал им Бульбаник. Видно, не было здесь того, за кем явились среди ночи.

— Не врешь, часом? На Ясеневой хлопцы? А где они там? — выпытывал звонарь и злился, что придется затемно подниматься высоко в гору, да и то сказать, дорога эта не для приятных прогулок...

— Чтоб мне здоровья не видать, если неправду говорю... — Ей даже неловко стало: в жизни еще никто не подозревал во лжи... Да и о чем говорить, кого паны ищут, того и под землей найдут...

Вышли молча. Заторопилась проводить и дернулатаки Бульбаника незаметно за полу. Хотела дознаться, что случилось, чего ночью явились, кого хотят поймать и зачем.

— Гимназист твой что-то натворил! За ним и пришли. И сердятся, что должны теперь на гору лезть...

— А потом его куда?

— Сначала в казарму, а потом утренним поездом в Хуст. — Звонарь явно выкладывал все, что знал, наверное, стыдно стало за давешний крик...

Они шагали уже по наделу сестры в конце усадьбы, мимо ореха, а она все смотрела вслед... Промелькнули на околице — блеснул штык, освещенный месяцем, — и исчезли из глаз. Дорога поворачивала в заросли, за высокие дикие черешни и ольховник.

А она все стояла. Спросил бы кто, чего не возвращается в хату, не ответила бы. Только когда пробрал до костей предутренний холод, перешагнула порог. Прикрутила фитиль лампы до крохотного язычка и легла, измученная, рядом с детьми. Прислушалась к их дыханию... Ничего они пока не знают, вот и счастливы... А вырастут... Что тогда?

Длилась вязкая тишина ночи. Хотелось поговорить с кем-нибудь, забыться... Но с кем? Кто скажет словечко в утешение?

Совсем обессилела, такая слабость охватила от озноба. Забралась на печь, хоть бы согреться немного... Съежилась, подложила руку под голову, но дрожь не отпускала. Зажмурилась, а Бульбаник с жандармами продолжали стоять перед глазами. Поняла теперь, они явились ночью, чтобы забрать сына-гимназиста. Значит, сейчас поднимаются на Ясеневую и поведут мальчишку оттуда под конвоем.

«Вот уж времена настали, и детям покоя нет!» — горько подумала и попыталась воскресить в памяти слова наговора, которому давным-давно научила ее бабушка.

— Защити от воды и огня... от слепоты и глухоты... огради от увечья, от оговора и господской кары... — повторяла снова и снова, будто искала в этих словах утешение и поддержку...

Только сморил ее сон, закричал петух. Он кукарекал старательно, как по долгу службы, дружно отозвались другие, и звучала по селу петушиная перекличка.

Сначала вслушивалась. Потом задремала снова. Впрочем, сон был короткий.

Испуганно подняла голову, огляделась. Лампа давно погасла. Сквозь подслеповатые незавешенные окна пробивался серый рассвет. И все казалось серым: тени на стенах, дощатый лежак с детьми, укрытыми серым покрывалом, стол и скамья у стены. Померещилось, будто под окнами мелькают серые тени.

Дети спали крепким предутренним сном.

Поднялась поспешно.

Торопливо сунула за пазуху узелок с мелкими деньгами.

Разбудила старшенькую, Маричку. Сказала, что торопится к утреннему поезду, тут же вернется, не задержится... И выбежала из хаты.

Из-за зеленых зарослей вскоре показалась крыша железнодорожного вокзала, донеслось далекое пыхтение маленького паровозика, и снова тревога охватила ее.

Бежала напрямик.

И вдруг покачнулось все вокруг, потемнело в глазах, когда увидела на перроне двух жандармов и между ними сына.

— За что это вашего? — спросил на ходу стрелочник Лусьбум, держа под мышкой березовый веник.

— Откуда я знаю...

— Молодо-зелено... Против ветра дуют... Научат их

паны уму-разуму... Не захочешь быть и блохой в их сорочке... — Лусьбум хорошо знал науку мадьярских жандармов: попадешь к ним в руки, получишь и за то, в чем провинился, и за то, в чем мог бы провиниться. Стрелочник работал на станции и был в курсе всего, что происходило на Верховине после прихода новых, жестоких господ.

Застыла поодаль, прижав руки к груди.

— А вы подойдите, не бойтесь! Жандармы — тоже люди! Какую-никакую копейку дайте парню, если имеете... — Лусьбум словно угадал, для чего пришла на вокзал в тот самый час, когда сына вели из села.

Слова стрелочника прибавили смелости. А тут и сын окликнул:

— Мама!

Это тоже прибавило решимости. Подошла поближе.

— Ты виноват?

— Нет!

И больше ничего не было нужно. Значит, ясное дело, кто-то жестоко ошибся. Полезла за пазуху, вытащила узелок с деньгами. Жандармы неотрывно смотрели.

— Возьми! — звякнули на ладони медяки.

— Мне денег не нужно... Паны и накормят, и напоят... — усмехнулся через силу.

Ничего не поняла и сунула мелочь в карман его курточки, в ней гимназист пас с братом коров у Ясеневой. Это было в ту весну, когда мадьярское королевство отправилось завоевывать Трансильванию и занятия были прекращены — гимназии понадобились для нужд армии.

Медяки выпали из дырявого кармана, покатились по перрону. Наклонилась, стала собирать, будто и вправду терялось сокровище...

Люди засуетились — за переездом через шоссейную дорогу показался приближающийся паровозик.

Состав неспешно затормозил. Жандармы с сыном вошли в вагон.

Стояла одинешенька, не отрывая глаз, пока поезд не скрылся вдали. Кого спросить, на сколько дней и ночей увезли ее сына? И какой же беспомощной чувствовала себя в этом мире панов и панской кривды!

И теперь, в далекую от ареста сына майскую ночь, стояла перед тем же вокзалом у межгорья и видела все, как вчера. Хоть переменился с тех пор мир, и люди

сделались иными, и жизнь стала другой — без жандармов и без страха...

— Сейчас, бабушка, поезд на Усть-Черную пойдет! — диспетчер выбежал из дежурки и задержался на ступенях.

И правда, порожняк, что шел из долины в горы, уже виднелся.

Уходила прочь та давняя материнская тревога, и стало легче...

«Все-таки свет не без добрых людей! Едем!» — подумала и перебросила торбу с паляницами через плечо.

СКАЗКА БЕЛОГО ИНЕЯ

Мать остановилась в конце усадьбы возле ореха — уже несколько лет, как он ожил и зазеленел после бури, — и Анна увидела ее из окна.

Разложила на столе коробочки и флакончики с парфюмерией — давненько не бывала в родных местах, не виделась с подружками по детству и сельской школе, вот и хотела предстать перед ними, как положено даме, живущей в городе с его порядками и обычаями... Да и вообще... Все к этому обязывало: и семья, и образование, и специальность, по которой работала...

И при всей сдержанности и врожденной скромности, собираясь в село, где родилась, бегала с ребятишками, куда, как птица из далеких краев, изредка прилетала, она и принарядилась, и воспользовалась всей прелестью покупных ароматов, хоть в ее крестьянской родимой хате никто на это гроша ломаного в жизни не выкинул бы...

Когда увидела на усадьбе мать, подумала: не лежит теперь дорога к подругам. И все же не сняла украшений, прошлась пушком с пудрой по смуглому полнеющему лицу, провела по губам помадой, удовлетворилась этим и стала укладывать косметику во вместительную сумку с разной дорожной мелочью.

Мать подошла к огородику, что с весны до осени зеленел подле хаты. Вдоль него одна дорога вела вверх, через холмы, от прадедами взлелеянного гнезда к соседским дворам, другая, коротенькая, сворачивала к их усадьбе, она начиналась здесь же, от калитки с козырьком на столбиках.

Два чувства овладели Анной. Первым была светлая

радость, счастье от сознания, что видишь мать живой и здоровой. И сколько бы лет тебе ни было, всегда ощущаешь себя ребенком оттого, что есть еще у тебя мама...

А второе чувство обожгло совесть горьким упреком: ведь самый близкий, самый родной человек на свете отдал тебе все, получив так бесконечно мало...

Услышала, как скинула мать на крыльцо висевшую на плече котомку. Все получалось неожиданно, и нужно было хоть сейчас на что-то решиться: то ли выбежать навстречу, то ли ожидать ее в комнате, из окна которой виднелась Ясеневая. Отсюда гора всегда сияла так, будто хату нарочно поставили лицом к вечной ее красе.

Сидеть у стола дальше показалось неудобным, и Анна шагнула к порогу.

Уставшую от тяжелой ноши и дальней дороги — по горным кручам чертей гонять за грехи, а не пожилому человеку ходить, — дочь схватила ее в свои широкие объятия. Припала свежим лицом к маминому увядшему и все еще не по возрасту прекрасному... Тепло родных рук невольно вернуло в детство, когда прижималась к матери в ожидании скупых ласк и редкой нежности — не до них было в неизбывном труде и вечных заботах.

Анна сама давно познала материнство и, как врач, не одного ребенка приняла собственными добрыми руками... А тут вдруг стала маленькой, беззащитной, как в то далекое зимнее утро, когда увидела деревья, искрящиеся серебром... Мать обнимала ее и грела, а девочка неотрывно глядела в окно на несказанное загадочное волшебство и все хотела постигнуть сказку белого инея...

— Наверное, голодная? Сейчас буду стряпать, только огонь разожгу. — Мать поцеловала дочку и по давней привычке сразу же захлопотала. Так всегда делала, стоило только кому-то из детей переступить порог родной хаты.

— Ни капельки! — улыбнулась в ответ. Да и в самом деле, не ребенок же, могла и сама поесть...

— Чего бы побыстрее сделать? — засуетилась мать и стала предлагать: — Козье молоко есть, брынза, токана картофельного хочешь? — Она знала, что любит дочка простые деревенские кушанья, и потчевала от души.

И сразу наполнилась хата уютом, сердечными хлопотами хлебосольной хозяйки.

Когда-то дом ее, битком набитый детишками, был беден, и праздником становились пригоршня кукурузной муки, горсточка фасоли или кучка картошки... А теперь поселился здесь такой достаток, о котором раньше не могла и мечтать: и молоко от своей коровы, и домашнее сало, и муки вдоволь, не кукурузной — пшеничной, и запас картошки с огорода, и брынза, и многое другое... Чего еще желать простой крестьянке, живущей высоко в горах? Да если вспомнишь, как не баловала ее судьба смолоду...

Оглядела хату, будто только заметила, что кого-то не хватает.

— А старик наш где? — глянула на лежанку, застеленную мохнатым цветным покрывалом. С возрастом хозяин полеживал на ней и днем, если не случалось дома полезного дела.

— Сказал, что идет на похороны Кузика. Как это, бедняга, разбился? — Анна хотела узнать подробности, отец при встрече успел сказать только, что вот, мол, ушли в этот год из жизни два брата Кузика, женатые на двух родных сестрах из другой семьи. Хоть и редко, но бывали такие браки на Верховине.

Помолчали, вздохнули сокрушенно: случилась же такая беда! Горестное происшествие потрясло село. Анна не успела дойти до станции к дому, как встречные рассказали о несчастье.

— Водка-погубительница! — сказала мать. — Вез пьяный шофер людей и загнал машину в пропасть... — Она говорила с тем горьким сочувствием, когда ничем никому уже не поможешь...

А потом начались материнские расспросы: все ли здоровы, как муж и дети, какие новости не только в городе, где живет дочь, но и во всем огромном мире, всегда не слишком спокойном? При этом, спрашивая, как бы сожалела, что живет в горах и многого не знает, но в конце концов выходило так, что самое существенное из всех новостей было: в семье у дочери все хорошо и все в добром здравии...

Спросила о старшем сыне, он жил неподалеку от сестры, в том же городе. Хоть и не часто наведывался на Верховину, но именно с ним была всеми мыслями его всепрощающая мать. Помнила всегда, печалилась, заботилась как могла...

— Василь здоров. И дома все в порядке... Да о нем потом... А может, вы к ним соберетесь? Рады были бы

повидать... — Анна отвечала неохотно, вроде бы не хотелось ей сейчас говорить о брате.

Мать не знала, что приехала дочка в родной дом по делу, ненадолго, думала, не будет она спешить, погостит хотя бы недельку... Побудут вместе, наговорятся досыта, как водится, когда встречаются близкие люди после долгой разлуки под крышей старого гнезда. А там, глядишь, и захочет дочка-врач подняться на Ясеневую — весело на ней в мае, такие просторы, что не только все окрест видишь, но, кажется, можешь обнять весь огромный белый свет. Давно надеялась, что выскажет Анна такое желание, с тех еще пор, как училась она в городе и, приезжая, так редко поднималась на гору. А когда бегала в сельскую школу, небось каждое лето помогала сушить сено, с радостью оставалась ночевать там под навесом, а то и просто в стогу под открытым небом. И хотелось матери, чтобы увидели соседи ее ученую дочь на горной тропинке...

Так думала мать. Немного нужно ей было, чтобы вырваться из деревенских будней в мир доброй мечты...

И как-то незаметно вышла во двор, к погребу, за припасами. Чем бы попотчевать дорогую гостью? Помнила, как Анна, еще маленькой, все просила сварить картофельную похлебку, а бедность в доме была такая, что не могла побаловать ребенка простой затирухой. Но теперь-то может, теперь, слава богу, все есть! Да и дочка наверняка сама мастерица стряпать, только уже не верховинские, а городские кушанья...

Пересекла поспешно садик, подошла к скалистому пригорку — в склоне его был выбит погреб. Достала ключик на красной тесемке. Издавна привыкла привязывать к ключам яркое, чтобы, если потеряешь, легче было найти. Отомкнула купленный в Хусте висячий замок сложной системы и, как всегда, имея с ним дело, почувствовала себя доброй, рачительной хозяйкой...

А зачем, собственно, такой замок? Разве не доверяла своим соседям или подозревала их в дурном и невозможно стало жить без мудреных запоров? Вовсе нет! Помнит, как обходились без них и слыхом не слыхали о кражах. Просто был прицеплен к дверям погреба ерундовый замочек и висел так, для видимости, отпирался он кусочком простой проволоки.

И на тебе, объявился тут неподалеку лодырь-приблуда. Явился в рванье с чужого плеча и осел в хате у молодой вдовы. Пока не досчитывались одной-двух кур, еще было ничего, но, когда начал он в темные зимние ночи шарить по погребам да чердакам за картошкой, колбасами и салом, стало невтерпеж. И мать пострадала: забрался вор к ней, уволок два мешка отборной картошки, прихватил яблок, пошуровал в кадке с капустой, так и бросил ее открытой. Словом, как у себя дома похозяйничал, даже замочек не забыл на место привесить... Вот тогда и купила замысловатый запор.

Земляной пол погреба холодил ноги, каменные стены источали сырость. Было зябко и сумрачно, но мать отчего-то именно здесь услыхала запах парфюмерных соблазнов дочери, словно Анна была рядом и наклонилась к мешку с картошкой, чтобы подсобить...

— Какое же время настало! — усмехнувшись, негромко сказала вслух: — Доктор из простых крестьян! Еще и женщина! Да разве когда-то могло такое присниться? Бедняки не осмелились бы и подумать! — спрашивала сама себя и отвечала счастливая — на сердце было легко-легко, будто выросли крылья...

Заглянула в угол в ящик. Когда собиралась на Ясеневую, лежал тут изрядный запас яблок. Приберегла из последнего урожая, чтобы было чем побаловать, если наведается кто из детей... Да и чужой зайти может... Гляди, не успел старик растранжирить, не все роздал соседской детворе! Привычка у него такая — раздавать дары сада и земли не из-за соседской бедности, а для похвальбы и славы добряка...

Яблоки розовели первозданной свежестью, которая сейчас, в мае, казалась чудом. Самые яркие положила в ведро поверх картошки, чтобы Анна увидела их сразу, как только мать переступит порог.

Вышла в сад и глянула мимоходом на свою ношу. Яблоки, вынесенные из холода на майское солнце, покрылись капельками росы, и мать снова почувствовала себя хозяйкой, дарующей не только пищу, но и отраду для сердца и красоту для глаз.

А сад этот, по которому бежит тропинка от хаты до погреба, посадил и выходил Микола. Хлопотал возле каждого саженца, заботился о каждом деревце и присматривал, как за живым существом. Вытянулись деревья и отблагодарили не только розовым весенним цветением под необъятным небом. Когда приходило лето с теплыми

дождями и щедрым солнцем, клонились от тяжести плодов ветви к земле, и приходилось Миколе прилаживать подпорки. Спешила осень с изобильным урожаем, и был Микола в это время всегда хлопотливым и радостным — он пожинал плоды своего труда... Оттого и сама любила сад и работу мужа, хоть и знала, что страстную свою приверженность к земле мог бы он больше проявить там, на равнине, где растят люди пшеницу, где зеленеют виноградники... Но суждено им было родиться здесь, в горах, где гуляют на полонинах студеные ветры, где пшеничный хлеб и тот пекли только на рождество да на пасху, и благодарила судьбу, что хоть в саду обрел Микола счастье хозяина земли, счастье хлеборобского своего дара...

Вошла в хату, чувствуя себя щедрой рачительной хозяйкой.

— У вас яблоки еще такие! Господи! — Анна даже растерялась и по-ребячьи нетерпеливо выхватила из ведра большое румяное яблоко.

Эта детская непосредственность словно высветила спокойствие задумчивой крестьянки-матери, быть может, даже ее превосходство над ученой дочкой... И оттого усмехнулась невольно.

— Кабы вы, бедняжки, не жили так далеко, было бы всегда и у вас свежее яблочко из родительского погреба... Сад, слава богу, не оскудел, и урожай с осени до лета хранится... Кушай на здоровье!

Уговаривать не пришлось. Дочка уже аппетитно хрустела сочным яблоком, наслаждаясь прохладной сладкой мякотью.

— А теперь почистим картошечку! Славная она у вас! — весело сказала Анна. Но, пока разглядывала, где что лежит, мать уже наполнила большую миску вымытыми картофелинами, круглобокими, крупными и свежими, будто только-только с огорода.

Анна срезала кожуру аккуратной тонкой ленточкой, словно хотела посмотреть, какой она выйдет длины. Мать хлопотала у печи, наломала щепок и выбежала за дровами.

И в эту минуту в хату вошла Гафия, старшая сестра Анны. Прослышала, видно, что пожаловала из города докторша, вот и поспешила, не так, конечно, чтобы проведать, как выведать... Пришла не без надежды: разжиться бы какими-нибудь лекарствами от боли в желудке и ломоты в пояснице. К тому же знала, что мать долж-

на вернуться с Ясеневой, вот и думала раздобыть у нее молока хоть для кошки. Вообще же Гафия без дела в дорогу не пускалась: если не найдет чего полезного для хаты, найдет пищу для языка...

В затрепанной юбке, в резиновых сапогах на босу ногу, подурневшая и унылая, была она такой не от работы, что горела в руках, а от странного, вздорного характера. Не ходила она, как все люди, а бегала, не говорила, а кричала и, хоть времени было невпроворот, вечно спешила...

И с Анной поздоровалась сдержанно, холодно, та сразу и не поняла, с чего бы... Уселась возле стола и с минуту разглядывала, как орудует ножом ученая сестра, следуя давней маминой науке бережливости и аккуратности. Потом оглядела комнату и спросила:

— А мама где? — словно только это и было ей нужно.

— Токан хотим сварить, вот и пошла за дровами. Давненько я его не ела. Пообедаешь с нами? — Анна радушно приглашала сестру, пытаясь в то же время понять причину ее недовольства.

Из-за хаты донесся стук топора. Сначала размеренный, спокойный, видно, кололи мелкое для растопки, потом удары стали частыми, наверное, попалось сучковатое полено, а тут уж не бабья сила нужна... Хоть, собственно говоря, мать никогда не знала границы между трудом мужским и женским, потому и видели ее люди и за плугом, и за бороной, и с топором на рубке леса, и с косой на поле... Что нужно было, за то и бралась... И сейчас стук в сарае сделался вдруг молодецким, раздался треск обуха по колоде — без такой не обходится на Верховине ни один дровяной сарай.

Сестры прислушались.

— Сбегай помоги маме! — Анна бросила нетерпеливый взгляд на Гафию. Право командовать младшая захватила только по недостатку практического опыта в деле рубки дров...

— Если по-честному, сестрица, и сама могла бы дров принести... Чего понадобилось матери идти, ты-то помоложе да посильнее?.. — выговорила Гафия, но этого показалось недостаточно, и она добавила: — Ты тут ножичком и картошечкой забавляешься, а там мама топором через силу машет! И отец хорош — не позаботился, чтоб всего хватило!

— Да не знаю я, где что в сарае лежит, что нужно рубить, а чего нельзя... Как-то топорище на щепки расколола, так отец успокоиться не мог, ругал, будто оно из чистого золота... — Анна словно оправдывалась не только перед Гафией — перед всей семьей.

— Болтай ерунду! Лак на ногтях бережешь! — не хотела угомониться старшая.

Анна знала докучливый, въедливый характер сестры, но все же такой встречи не ожидала. Почти год минул с тех пор, как они виделись в последний раз, отчего же сейчас Гафия так груба?

— Лак от картошки скорее сойдет, чем от топора, да и руки почернеют... — Анна пыталась свести разговор к шутке, вытерла передником руки и протянула их сестре.

Гафия смутилась — и следа лака на ногтях не было... Дернула сердито плечом, нехотя усмехнулась.

— Небось стерла, как в село ехала. В городе не одни ногти мажут, и губы насандалят, и брови выщипают... — Она демонстрировала необычайную осведомленность в городских ухищрениях.

— Положим, в таких делах сейчас и село не отстает! Сама видела! — Анне хотелось мирно закончить разговор.

Она знала тяжкую, убогую судьбу старшей сестры. Была Гафия в семье первой на выданье, и, значит, выпало ей на долю самое трудное. И замуж шла вскоре после войны, в голодные годы, так, будто силком из хаты выпихивали. Приданого всего-ничего, женихов тоже не густо, и отдали ее не за того, о ком мечтала, а за того, кто первым порог со сватами переступил... Но сейчас Анна невольно подумала: что за злобная оса ужалила сестру, что овладел ею такой воинственный дух? И все же помнила, нужно уступать старшей, может, когда и промолчать, ведь, кроме всего, и образование обязывало быть снисходительной...

Воцарившееся молчание угнетало. Ведь есть же о чем поговорить, о чем расспросить друг друга! А они не находят слов. И стук из дровяного сарая как будто доносится сильнее... Но только мать отложила топор, как в тишине комнаты, казалось, стало слышно, как нож скользит по картофелине...

Внесла охапку наколотых поленьев. Поздоровалась со старшей дочерью, по привычке спросила, здоровы ли домашние. Конечно, мать отлично знала все ее дела, но

таков был обычай... Доброе это внимание заставило Гафию смягчиться, и она сразу же засуетилась по хозяйству: аккуратно сложила сброшенные на пол дрова и нашарила спички, чтобы разжечь огонь.

— Лучше бы Анне подсобила! — Мать заботилась о младшей.

— А я хочу вам! — Старшая упрямо возилась с растопкой.

Анна как будто ничего не слыхала. Вдруг пришло к ней чувство, словно вернули ее в милое детство, исчез куда-то груз прожитых лет, притихла боль обид и потерь, заглушивших беззаботность и наивную доверчивость той далекой поры... И почудилось ей, взрослой, что прикоснулась она к благодатной купели, которая не только возвращает стремительно промелькнувшую молодость, но и дарует заново сказку вечного детства... И понимала: это ворожат стены старой хаты, ее тепло, такое родное и близкое, сросшееся с душой...

Исподтишка взглянула на Гафию, хлопотавшую у печи. Казалось, сестра в каждом движении была прежней — такой же проворной, умелой, хозяйственной... А ведь Анна знала, что она, работящая, терпеливая, нетребовательная, в женской своей жизни горько обездолена... И, зная это, готова была простить и колючий характер, и ворчливую придирчивость, и вечное брюзжание, и откровенную скупость. А сколько упреков приходилось выслушивать, когда училась в медицинском и приезжала домой на каникулы!

Гафия, не по возрасту ссутулившаяся, в ранних морщинах, просиживала бесконечные зимние вечера за веретеном, вязала и ткала, шила и надставляла... Время было такое, муж ее ходил в лес на работу в штанах, где заплата за заплату держалась... Годы эти не только отняли лучшие силы, но и щедро одарили детьми: не успеет одного отнять от груди, как другой уже сам прильнул...

И находила Анна в долготерпеливой сестре, в нескончаемом ее труде и двужильном упорстве сходство с матерью и потому, полная доброго сочувствия, прощала многое...

В комнате запахло дымом. Верткие сизые струйки сначала пробились в щели печной дверцы, потом выстрелили золотыми брызгами, и пришлось открыть двери хаты. Но, как только дружно и весело, будто играючи, за-

трещал огонь и ровно загудело в трубе, дым исчез и сразу стало уютно.

Мать тщательно выскребала накипь из горшка — картофель для токана должен вариться в самой чистой посуде.

Анна любила гудение огня. В нем тоже таилось непостижимое чудо родного гнезда и тех далеких лет, когда они, малыши, с ложками наготове нетерпеливо ждали приглашения к столу, а мать не варила — ворожила, не единожды сотворяя из крох не так уж и мало...

Картофельный токан с яичницей запивали кислым молоком. За трапезой перебрасывались изредка скупыми словами, словно обо всем уже было переговорено. На самом же деле к настоящему разговору еще не приступали...

Ела Анна с наслаждением, вроде бы ничего вкуснее не бывает... И ощущала себя путницей, которая, к великой радости, вернулась наконец после долгих скитаний в родное гнездо.... Согрела душу, оценила уют и сытую трапезу в кругу семьи...

Гафия и за столом держалась как-то странно: пригорюнилась, сникла, молчала упорно. И выражение лица, не слишком радостное при встрече, сделалось совсем угрюмым.

Анна опять пожалела сестру. Принялась вспоминать, не сказала ли невзначай чего обидного. Хотя, говоря правду, хватало Гафии того горя, что причинял ей достославный супруг-лесоруб, пустившись во все тяжкие... Анна все это знала. В одно прекрасное утро, когда стало Гафии уж совсем невтерпеж, бросила она хату и детей на Олексу (благо был у того отпуск), села на поезд и отправилась к сестре. Так, чтобы нашкодивший муженек и следов беглянки не сыскал...

«Приехала я к тебе нервы лечить! Нашел себе мой уборщицу в общежитии!» — сказала, переступив порог, и заплакала.

Анна пыталась расспрашивать, но Гафия замолчала, считала, что все выложила сразу, как вошла в дом. И теперь стало уже неловко перед младшей... А тут еще докторша захотела показать ее знаменитому невропатологу, на что согласия так и не получила. Как же, мол, возможно, чтобы чужие расспрашивали? Да к тому же сама Гафия считала, что лечить перво-наперво нужно ее долговязого Олексу от любовных заблуждений, и притом самой доброй хворостиной...

Шли дни. Беглянка отлежалась, отдохнула. Можно было возвращаться домой, да и по детям соскучилась. Наверное, и грешник уже прочувствовал, что значит остаться одному на хозяйстве и к тому же не ведать, куда подевалась жена...

Разжилась у сестры «пилюльками от нервов» — как проглотишь одну, так пускай весь свет в тартарары провалится, а тебе наплевать. Не поскупилась докторша, дала впрок две баночки...

— А теперь скажите, пожалуйста, вы для меня захватили лекарства? — Гафия отчего-то стала величать сестру словно чужую.

Анна улыбнулась этой маленькой хитрости. Собираясь к своим, она всегда запасалась всем необходимым. Знала, стоит докторше появиться в селе, как тут же заявятся и свои и чужие. Нужно будет и выслушать, и выстукать, и рассказать, что на свете новенького...

— Меньше про пилюльки думай, здоровее будешь! — засмеялась в ответ.

— Если здоровье не в лекарствах, зачем тогда аптека? Зачем врачи? — недовольно глянула Гафия.

— Я же тебе целую пригоршню дала, когда у меня гостила...

— А от них уже ничего не осталось...

— Что-то я, дочка, слыхала, будто и соседи теми пилюльками сыты были, — становясь на сторону младшей, неожиданно сказала мать. Она считала: не следует зарабатывать добрую славу на том, что дали в помощь тебе...

— И вы, мама, поделились бы. Помогло же людям... — Гафия не рассердилась, знала доброту и щедрость матери.

— У тебя и вправду что-то болит? А как там твой поживает? — Анна осторожно задавала вопросы, причины всех сестриных недугов были ей хорошо известны.

— Болит и не перестает... Что поделаешь? Видно, на роду иаписаио, что суждено терпеть... Только бы хуже не стало...

— Да хватит тебе! — перебила мать и взглянула иа Аниу. — И у меия болит, да некому пожаловаться... Вот и терплю...

— А ты бы поинтересовалась, как мама. Отчего не спрашиваешь, что с человеком? — Гафия пошла в наступлеиие с неожиданной стороиы и так решительно, будто необходима была матери самая срочиая помощь.

— Но она не жалуется! — оправдывалась Анна.

— А ты жди, пока пожалуется! — повысила голос старшая. — Недели две назад дыхание у нее сперло, сердце биться перестало... И за доктора пришлось быть, и за аптекаря... Счастье, что родничок рядом случился, он маму и спас... — Гафия говорила зло, с загадочными недомолвками: мол, докторше самой следовало бы обо всем дознаться.

— Что же ты до сих пор не сказала? — Глаза Анны расширились от удивления.

Мать молчала. Все было правдой... И хотя Гафия ничем не могла помочь во время острого приступа, но именно она, старшая, в те минуты находилась рядом. И в этом было ее преимущество перед сестрой, хоть та во все свои нечастые приезды привозила лекарства, осматривала и выслушивала, давала дельные советы, как беречься в разное время года.

Анна невесело задумалась.

— А, болтай! — Мать махнула рукой, словно хотела показать, что не следует придавать этому значения. Но выражение лица выдавало, видно, сама понимала приблизившуюся вплотную опасность...

— Выходит, сестричка, получается у нас по пословице: сапожник без сапог, портной без штанов... — Анна попыталась пошутить, хоть, правду говоря, услышанное встревожило и было не до смеха.

— Вроде есть доктор и нету его... Есть потому, что свой, а нету оттого, что больно далеко... — Мать говорила спокойно, а в голосе звучали одновременно и тайная гордость, и досада.

Когда дочка заканчивала институт, в их село вдобавок к двум врачам, уже работавшим здесь, должны были назначить еще одного. Кто-то из соседей, видно, знающий и толковый, посоветовал родителям, не откладывая, обратиться в правление колхоза и похлопотать, чтобы послало оно просьбу в ректорат. Так, мол, и так, направьте нашего, деревенского, в родные места, ведь за всю историю села не случалось такого, чтобы кто-то из крестьян выучился на врача. И охотник нашелся составить письмо, по которому ясно и понятно выходило: Анне, молодому специалисту, нужно работать на дедовской земле...

Микола, отец, хоть сам никуда идти не собирался, готов был прислушаться к разумным советам. Но мать повела себя решительно: вежливо выслушивала всех, по-

малкивала и оставалась при своем разумении. Ведь, если правление или общество станут ходатайствовать о назначении Анны в их село, просьбу могут уважить, и тогда дочка окажется в зависимости от хлопотавших. И будет так не на время — навсегда. Ну, и, кроме того, мать верила: те, кто учил Анну и пошлет ее на работу, наверняка лучше других знают, где она больше нужна...

— Что и говорить, Гафия! Хорошо, кабы она с нами была... Да ведь люди — всюду люди, и болит у них одинаково... Лучше, когда есть... — Она прервала свою речь, понимая сложность жизни больше, чем старшая дочь. И, кроме всего, радовалась тому, что не засиделась младшая в девках, что привязывала ее теперь к городу не только работа, но и семья.

Анна, словно хотела наверстать упущенное и оправдать прежние надежды, торопливо поднялась и вышла в соседнюю комнату за своими врачебными принадлежностями. Она уже приготовилась выслушивать, советовать, лечить...

— Теперь можешь выстукивать... Полегчало маме. Тогда нужна была помощь, когда упала на землю и лоб ледяной росой покрылся... — Гафия свято верила, что врач необходим только тогда, когда хворь свалила с ног и смерть замахнулась косой...

— Давай сначала тебя послушаю! — Анна приготовила аппарат и сосредоточенно посмотрела на сестру.

— Да чего там! Здорова я... — Гафия считала, что может определить свои болезни лучше любого врача.

— Пускай посмотрит... Душе приятно со своим доктором дело иметь... — пыталась уговорить ее мать.

— А я знаю, мне бы только тех пилюлек! — не сдавалась старшая. И в самом деле, раз не жмет в груди, не стреляет в висках и кашля нет, чего тут выстукивать? Нервы вот только спать не дают...

— Не нужно, и ладно... А прижмет, скажи. Я всегда готова... — Анна не уговаривала сестру, знала ее взбалмошный характер.

А Гафия уже заторопилась к дверям. Так засиделась, подумать можно, будто у самой дела нет по хозяйству...

Анна собралась проводить сестру. Но перед выходом достала из сумки вожделенные пилюли — те, что и от простуды, и от головной боли, и для сна...

— Расскажи, что с мамой случилось? Очень ты меня напугала! Похоже на приступ, да? — Анна, встревожен-

ная, настойчиво расспрашивала сестру. Они остановились у огорода, полного цветов и зелени.

— Ну, что сказать... — Гафия неожиданно смягчилась. — Смерть так близко прошла над мамой, что и меня ледяным ветром обдуло... Тогда одно только в мыслях было — кабы ты в эту минуту рядом оказалась... Сердце от жалости разрывалось, ведь всех нас привела она на белый свет, выкормила, вырастила, тебя на доктора выучила, а теперь лежит ни жива ни мертва у Ясеневой под чужой яблоней... Земля каменистая, небо высокое, чужое, и я, беспомощная, рядом, вот тебе и все врачи, и все белые палаты...

— А как это началось? — Анна пыталась понять случившееся хотя бы в пересказе сестры.

— Давай по порядку вспомню... Гнали мы корову... Наши могли ее еще дома держать — трава прошлым летом уродилась щедро, сена насушили вдоволь. А мама все скупилась — как проклюнулась первая зелень, так и погнала корову пастись... — Гафия перевела дыхание. — Ну, значит, веду ее, шагаю, не торопясь, впереди — крепко солнышко припекало, да и мне не семнадцать... Оглядываюсь, конечно, поспешает ли мама и вдруг вижу, идет она так, словно ноги у нее чугунные, пудовые и земля их не отпускает. Сама знаешь, по нашим тропам молодому шагать нелегко, что уж о старом говорить! А они здесь такие — чертей только гонять! Смотрю, остановилась мама, пошатнулась и рухнула как подкошенная. Кинула я корову, швырнула мешок, лечу сломя голову назад. А мама лежит плашмя, лицо — как полотно, глаза мутные. Что делать? Чем помочь? Вспомнила, слава богу, где-то поблизости родничок должен быть. Мы еще пили из него, когда в жару на Ясеневую поднимались. Полетела к нему как на крыльях, набрала воду в рот, брызгаю маме в лицо... И чудо! Глянула она, как сквозь сон, вздохнула и задышала глубже. Тут свежий ветерок повеял, яблоня зашелестела, и стала мама в себя приходить. «Где мы?» — спросила. «Да разве не видите, на Дидиканичевом поле, мы тут не раз с вами отдыхали!»

— А на что она жаловалась?

— Обожди! — Гафия хотела рассказывать по порядку. — Спрашиваю: «Где у вас болит?» А она показала на сердце. «Здесь как огнем печет! Ой, нет с нами Аннички!» — и заплакала. И я тоже сказала: «Ох, нету!» Полежала она тихонько, думая о чем-то, и вдруг говорит:

«Видать, есть на свете и не такие больные, как я, если нет ее рядом... — Потом приподнялась, показала на поле. — Смотри, кабы Зорянка потраву не сделала...» Схватилась за грудь, глянула на меня так, словно прижать к себе хотела... «Что с вами?» — спрашиваю, а мама вроде бы смеется и отвечает: «Иней! Белый иней на солнце, вон как искры сверкают! И поле, и деревья, и небо — все кругом в инее... Выходит, нужна я еще нашим горам, раз смертынька моя отступилась... Нужна, видно...» Чудно̀ так сказала и замолчала. Долго еще там лежала, пока наконец смогла подняться. И пошли мы тихонько дальше...

Анна уселась на постели отца, где он с возрастом привык в дурную погоду полеживать, когда вся работа в хате уже переделана. Отчего-то показалось зябко. Вспомнив детство, оглянулась на печь, куда с радостью забиралась греться. Как хорошо там было, как уютно! Все тело охватывало ласковое тепло, и незаметно подкрадывалась дрема. Тогда, свернувшись клубочком, сначала прислушивалась, как хлопочет по хозяйству мать, как постукивает колесо ее прялки, а потом все исчезло и приходили добрые сны...

Потянуло на печь и сейчас. Но заколебалась — вдруг войдет кто-нибудь и увидит ее среди бела дня там, где место детишкам да старикам в суровую зимнюю пору. И пойдет по селу: дочка Миколы, что из города приехала, бока на печи греет... Видать, не вышло из Ивана пана!

Впрочем, боязнь сельских пересудов тревожила не больше минуты. Улыбнулась — сватов с женихами не ждать, от разговоров голова не заболит, тут же скинула туфли, придвинула табурет и забралась на печь. Правда, эта, теперешняя, мало походила на старую — высокую, с трубой-коробом, за которой любили прятаться малыши. Сложили со временем новую, пониже и поменьше, чтобы в хате стало просторнее. И заботились при этом не только о плите для варки пищи, но и о другой верной службе печи — веками лечила она верховинцев, защищала детей и стариков от ревматизма и простуды, прогревала косточки в зимние, моро́зные ночи.

Из соседней комнаты, что глядела окном на Ясеневую, мать внесла пуховую подушку и домотканое одеяло.

— Возьми, возьми! Есть что и под голову подложить, и чем укрыться! Прошло то время, когда кулак под щеку подкладывали. — Мать остановилась у печи и ждала, а дочка рада была лежать, как в детстве. Пришлось все же взять подушку и одеяло, они дышали свежестью домотканого полотна, ароматом горного ветра и солнца...

В другое время стоило Анне закрыть глаза, как сразу приходил к ней добрый, по-детски сладкий сон. А теперь...

Она лежала и глядела на комнату. Тепло печи, проникая сквозь одеяло, начинало согревать. И вспомнился давний день детства, когда вдруг до слез разболелся живот. Мать стала растирать тмин, дула на зернышки, отделяя от шелухи, и бережно отсыпала в ладошку девочке, та должна была старательно разжевать их и проглотить целительный сок. Хоть и щипало язык, но Аничка делала все, как велели... А потом ложилась навзничь, печь дышала теплом, и боль проходила.

«Вот и вся медицина!» — подумала невольно.

Огорченная рассказом сестры и собственными мыслями, краем устало прищуренных глаз поглядывала на мать, как всегда, занятую работой. Сколько помнила себя Анна, представить ее без дела не могла... И откуда только брались силы!

И мать посматривала на дочку так, словно хотела убаюкать ее, навеять спокойный, глубокий сон. Знала, работы у нее, работы! Сама бывала у сельского врача, видела, сколько у него больных. И каждый приходит, надеясь на здоровье! Раз уж приехала Аничка в родной дом, нужно ей хоть здесь отдохнуть от всего... И пусть забудутся все заботы и придет к ней под старой крышей мир и покой.

«Гляди, однажды и товарищ доктор захочет отлежаться на печи, да не как-нибудь, а по-царски! — вдруг рассмешила озорная мысль. — Да где это видано, где это слыхано, при каких королях, в каких державах, чтобы из нищей крестьянской семьи, в голоде, убожестве и кровавых мозолях смог бы кто выучиться на врача?» — Мать перебирает в памяти всех соседей из далекого, среди полонин лежащего Дубового, кто мог когда-то о науке только мечтать, а теперь вот, пожалуйста, учись... Правда, и раньше какое-никакое ремесло добывали, случались, бывало, из своих писари, кондуктора, редко

лесники, но чтобы доктор? Нет, нет! Такое чудо не могло и с неба упасть!

И чувствует мать, что сроднилась она с сегодняшним днем, вросла в него, как и оно выросло из ее корней, продолжилось в дочери и во всех односельчанах, что добыли наконец знания... И слилось это теперь неразделимо: время и люди...

Ее наполняет чувство собственного достоинства, гордая радость... И снова возвращается к недавнему прошлому. Вот училась Аничка в Ужгороде. А могла бы и в Киеве, и во Львове... Куда бы после школы ни поехала, всюду могла. Просто дорога к Ужгороду была покороче.

И будто послышалась ей песня. Та, что звучала осенью сорок четвертого. Дочке тогда не было и десяти... Прибежала она с улицы и давай щебетать: «Мама, русские солдаты у нас! По-нашему говорят! Я одному яблоко дала, а он подхватил меня на руки и поцеловал! Давай отнесем им еще!»

«Отнесем, отнесем!» — сказала мать и, казалось, слышала свои слова и сейчас.

«Мама, чего вы плачете? Скажите...» — тормошила ее девочка.

«Вырастешь, поймешь!» — только и ответила. Теперь-то, наверное, поняла и посмотрела на Анну.

Хорошо на душе от воспоминаний, от мыслей про осень сорок четвертого, про учение Анички в школе в родном селе, про дорогу дочки в Ужгород. Только радость эта нет-нет и затуманится печально о своих молодых летах... Где они? Разве и она не могла бы учиться, разве ее судьба обделила умом? Но все уплыло, минуло безвозвратно... Вот и счастлива, что не прошла даром, впустую дочкина жизнь... И только этим живет теперь.

— О чем задумалась? — спросила Анну, что засмотрелась в окно, будто выглядывая кого-то...

Недавно закончился у них долгий трудный разговор. Такой, когда люди из одного гнезда, от одного родного очага не могут достигнуть ни согласия, ни понимания... А был он и вправду необычным... Анна, огорченная, уставшая, казалось, больше уже не могла ни о чем говорить. Ее охватили внезапное безразличие и гнетущая пустота...

— Ну скажи, что тебя печалит, что заботит? А я-то надеялась, вырастешь, выучишься, и будет все ладно... Не о чем голове болеть... — Голос матери звучал по-доброму мягко, хоть и слышалось в нем досадное непонимание: чего же еще хотят от нее?

— Если любите нас, прошу вас, мама, поймите наконец... — Анна запнулась: и сама уже не знала, какие найти доводы, чтобы мать поняла их и согласилась.

— Что же ты, дочка, просишь? — Мать сидела под окном у стола, сложив руки на коленях, будто собралась фотографироваться. Думала, наверное, руки, как и лицо, должны быть на виду. Она в них сама — в натруженных, работящих, зачем же прятать от глаз людских? Вот и положила руки спокойно, с достоинством.

— Оставьте Ясеневую! — снова заговорила Анна. Сейчас все тревоги исходили от горы, стала она врагом для матери, а значит, и для них, ее детей...

Ждала ответа. А мать молчала. Только неожиданная усмешка тронула губы.

— Отчего не соглашаетесь? Ведь так вас просят...

— Знаю... — Не договорила и оглянулась, будто кто-то мог подсказать ответ...

Анна терпеливо ждала.

— Знаю, была Ясеневая до меня, будет и после... — Мать остановилась, словно сказала не то... Помолчала раздумчиво, видя, как встревожена дочь, да и сама уже понимала, что надорвали крутые дороги уставшее сердце и чем это может обернуться в будущем: — Знаю, Аничка, придет время, и зазеленеет надо мной трава, и не услышу больше кукования кукушки и пения птиц... А Ясеневая по-прежнему будет купаться в теплых весенних дождях, и по-прежнему будут расчесывать летние ветры ее шелковые травы. И так же будет она красоваться по осени на солнышке и звенеть колокольчиками овечьих стад, как звенела при мне... И укроется снегами, забелеет тогда же, когда станет белым от сугробов погост...

Мать замолчала. Но тут же встрепенулась, словно захотелось ей посоветоваться.

— Какую же судьбу дашь мне вместо Ясеневой? — казалось, спросила не одну Анну, а всю семью. Спросила печально, мягко, и вздрогнул отчего-то голос...

Воцарилась тишина. Теперь уже было сказано все...

В памяти Анны осталась Ясеневая цветущей и щедрой: в предвесеннюю пору, когда лежало село в пышных нетронутых снегах, склоны горы уже зеленели, а кустарники и леса шелестели свежей листвой. Помнила Ясеневую и во время сенокоса, знойную от солнцепека, и ее тропинки, бегущие к роднику... Сколько раз приходилось таскать в маленьком ведерце воду косарям — жажду на работе может утолить только родниковая вода полонины. А потом изнуряющий зной сменялся студеными ветрами и едко дымил костер, возле него всегда хлопотала мать, стряпала пищу косарям. И девочке все было немило в почерневшей от времени хижине, разделенной на половины: большей для скота, меньшей для людей. Она пропахла дымом, сырыми опилками и кислым молоком, такая неуютная и надоевшая, особенно когда вот-вот придет сентябрь и распахнет школьные двери. С какой радостью расставалась она со всем этим и опять бегала с книжками!

— А ведь все у меня там было... Помнишь огородик у хижины? Ну и лук там рос! А чеснок... — Мать говорила так, словно открывала для себя вечные тайны земли.

— Как не помнить?! — невольно обрадовалась Анна, как бы вновь увидев горную поляну, где косил отец, где всей семьей собирали сено, чтобы хватило его на долгую зиму... Да и не только это дарила им Ясеневая! Была там и полоска картошки на прогалинке-полянке, на лоскутке земли, взрытой киркой, и мамин огородик, полный всяческой зелени, что выращивалась не только на здешнюю потребу, но и для дома. И правда чеснок здесь родился такой, какого в селе и не видывали!

А что за вода на Ясеневой! Чистая как слеза, студеная как лед, и родник рядышком с хижиной... Птицы во весь голос поют, все небо звездами усеяно, месяц висит низко-низко — рукой достать можно. Все, казалось, чаровало здесь, но Анну уже не притягивало, не манило. Потому-то и ощутила она с такой остротой радость той осени, когда уехала учиться в город. И беззаботно распрощалась в один прекрасный августовский денек с горой и со всем, что там было, даже с маминым щедрым огородиком... Видать, не прикипело все это к сердцу, хоть целиком принадлежало матери, являлось нераздельной частицей ее кроткой души. Только одну памятную минуту пережила тогда Анна, когда спусти-

лась с горы, отошла далеченько от ее подножия, торопясь домой, и на равнине вдруг оглянулась в последний раз, будто хотела взять ее на память... Какой же могучей предстала перед ней Ясеневая, вздымаясь в самое поднебесье!

Село их, лежащее в долине межгорья, баюкали медленно сгущавшиеся сумерки долгого летнего дня. Глава Ясеневой еще была в солнечном ореоле — светило уходило на отдых за гору Делуц. И пусть поражало величие увиденного, но все же главным для Анны было: она едет учиться! Получит со временем работу, о которой мечтает, и никогда больше не придется ей в поте лица своего подниматься с тяжелой ношей по крутым склонам. И еще раз представила себе: каждую весну, лето и студеную осень будет гора по-прежнему отнимать у матери силы, жизнь ее так и пройдет здесь в непосильном труде. И при мысли об этом сжалось сердце... Но только на мгновение, Анна верила — как только станет на ноги, тут же заберет мать к себе... Впрочем, подумала и о том, согласится ли она, не одна ведь... Словом, мысли и планы беспорядочно сменяли друг друга, но Анна надеялась, время развяжет все узелки...

И снова, в который раз загляделась на руки матери — непривычно было видеть их в состоянии покоя. Написать бы о них, как, не зная отдыха, брались они за любую крестьянскую работу — и в саду, и на пашне, и в огороде, и на полонинах горы, которую и представить без них невозможно.

«Какую же судьбу дашь мне вместо Ясеневой?» — снова слышится ей этот неразрешимый вопрос.

«Какую судьбу дашь мне?» — говорит про себя мать и тоже не находит ответа.

И с особой остротой ощущает она в эту минуту свою терпкую неизбывную любовь к Ясеневой... Но вместе с тем поднимается в душе горькая обида за безжалостно отнятые ею годы...

И невольно вспоминает равнину с неоглядными полями пшеницы, картофельными грядами, шелестящей листьями зрелой кукурузы и золотыми разливами подсолнуха.

Там в далекие годы батрачила она девочкой, жала за десятый сноп. Кружило голову плодородие пашни, избыток хлеба, щедрый урожай садов и вино-

градников. Не было здесь изнуряющих гор, и трудно было сдержать добрую человеческую зависть к тем, кому посчастливилось родиться тут, среди изобилия и сытого достатка... Плакало сердце: отчего ей не судилось такое? «Вот бы кусочек здешней богатой земли, небось стоила бы всей нашей бедной горы», — думала, глядя на золотое поле подсолнухов. Сказкой казалось оно, сроду такого и представить не могла! На родной Верховине если и сеяли его, то скупо, и стояли редкие стебли у межи, как маленькие солнца.

Все это на минуту вернулось к ней. И дума о вечности изумрудных полонин, о беспредельности дремучих боров с их ущельями и студеными родниками, о людях, что издревле селились здесь, в суровых горах... Вспомнилось ей и Дубовое, убаюканное ветрами, лазоревым небом и могучими кряжами окрест... И другие, большие и малые села долины Тересвы, сколько верст прошагала она по их тропинкам...

И на погосте, что рядом с дорогой, ведущей в поднебесье, стоит Ясеневая стражем покоя, вечным сном спят там родители, деды и прадеды, жизнь и смерть их прошла здесь, в горах...

Никто из них никогда не роптал на это. Ей, во всяком случае, такого слыхать не довелось. Бывало, скитались земляки в поисках заработков по далеким краям, надеялись разжиться клочком пашни. Бывало, гнали людей и лихие войны. И сами плыли за моря-океаны, терялись в чужих странах, а по ночам во сне видели родные края, и снова неодолимо звала их отцовская земля. И не было в мире таких красот, таких чудес, которые затмили бы свет далекой Верховины...

И опять представились ей знакомые, любимые места...

Только-только, бывало, дохнут теплые ветры, как глядит уже она из окошка хаты на свою Ясеневую. Видит, как темнеют на склонах горы проталины, как освобождается она от снега, и радуется сердце, предвкушая новую встречу, и вспыхивают в нем новые надежды. В долине скоро уже оттает земля, вспашут ее, разгладят боронами, и тут уж прямая дорога на Ясеневую.

А на полонинах еще студено, еще не прилетели птицы из теплых краев, густо синеет по вечерам небо — верная примета ночных заморозков...

Но уже кружит голову пробуждение окружающей природы, бродят во всем соки прорастания, и, кажется, ощущаешь приятную ломоту в зубах от ледяной родниковой воды...

Дни в трудах пролетали незаметно. Но наступал наконец тот, главный и благодатный, с высоким небом и бескрайним горизонтом... Земля, удобренная овцами, что паслись здесь осенью, послушно крошилась под мотыгой и принимала в лоно свое картофелины для будущего пропитания. Зерно прошлогоднего урожая спрятано было здесь же, уложено по-хозяйски в яму и хранилось тут всю зиму...

«Бросить Ясеневую? — повторила, не понимая. — А потом, а дальше как? И чем заменить ее? А ведь правда измучила она меня за всю жизнь! Пока взберешься на крутосклон, пот ручьями лицо заливает... А когда работаешь...» Мать будто въяве увидела то поле, где руками выбирала каждый камешек, чтобы не затупились о них косы, где срезала мотыгой лоскутки земли, проросшие дерном, где перекапывала и пересеивала, где... где... Сколько же было всего от первой, весенней дороги на гору до обратной — успеть бы до снега, — последней дороги поздней осенью. Сколько было трудов ее и дней на этой каменистой земле, в поте лица и кровавых мозолях рук...

«Ох, гора ты моя Ясеневая, а если бы и вправду по своей воле распростилась бы я с тобой до гробовой доски?» — мелькнула неожиданная мысль. Сказалось, наверное, воспоминание о той смертной слабости, что подкосила ее у дикой яблони на Дидиканичевом поле. Но только на минуту...

«Господи! Что я, грешница, подумала?» И словно дохнуло на нее ароматом цветов и спелых трав сенокоса, звякнули колокольцами овечки и корова, с соседских наделов долетели веселые голоса, загорелись у шалашей вечерние костры так ярко, будто хотели здесь, высоко в горах, посоперничать со звездами на небе...

Сумеречный покой ближнего леска с одинокими великанами буками, шумный, тревожный взлет ночной птицы, вспугнутой или нападающей, ночлег на сеновале, чеканный смуглый профиль Миколы, лежащего рядом, легкий ветерок с полонины и круглый лик луны в проеме крыши. Казалось, она подглядывала за ними...

И все это дарило такой свет и покой душе, что воз-

вращалось не воспоминанием, а новым пронзительным чувством...

«Да ведь я ее там зачала!» — внезапно охватило жаром догадки. И стелились шелковые травы Ясеневой, утихал зной предвечерья, горы оттеняли горизонт, и пьянила бездонная лазоревая высь неба...

«И пролетело все, как ветер...»

После уборки сена оставалась одна на горе с коровой и овцами — пастбища для животных еще хватало, да и осенние работы в долине пока не торопили... Оставалась не ради экономии корма в преддверии долгой зимы, приходилось дожидаться, когда поспеет картошка. Скотинка паслась, а ей дела хватало: и в огороде руки нужны, и хранилище для семенной картошки сладь такое, чтобы никто на след не напал — ни зверь, ни лодырь, охочий до чужого, когда погонит зима плетью голода... А когда зачинит кровлю припасенной дранкой, подмажет глиной стены, примется вязать внучатам теплые штаники на зиму да не забудет набрать в чащобе лесных орехов... В любое время года будней без забот и хлопот у нее не бывало...

Но вот наступал день, когда волей-неволей приходилось прощаться с Ясеневой. Напоследок даже в хижине прибирала, чтобы весной найти все на своем месте. Птицы уже улетели, а она все не спешила в обратный путь... Трудно расставаться — где еще найдешь такую свободу!

И, уходя, как-то по-особому жалела посаженные ею сливы и черешни. Бывало, внизу все давно уже убрано, а здесь ягоды только поспеют, вот и лакомились ими вволю...

Тихо шепчут губы... Это не мольба, чтобы пощадили злые осенние ветры ее Ясеневую, чтобы зима пришла снежная, без свирепых вьюг, гибельных для лесных зверей... Это благодарность судьбе, что даровала силы подниматься в заоблачную высь и работать здесь до соленого пота. И просит она у нее в новом году все того же — крутых троп, привычного труда, а значит, здоровья и радости... Знала, пока это с ней, будет счастлива и полна жизни, хоть и полагалось бы по возрасту любоваться Ясеневой только из долины...

— Ну что оттуда на вашу долю приходится? Ведь все для колхоза убирают... — Анна хочет осторожно продолжить разговор. Знает, для их коровы и овец хва-

тает сена на усадьбе, земли тут достаточно, еще и на поле растет здоровенная кормовая свекла...

О корове не говорит ни слова. В прошлые свои приезды упрашивала продать, а на деньги эти покупать себе молочные продукты. Но все было впустую... Сначала мать будто не слыхала сказанного, а когда дочь принялась настаивать, заплакала.

«Никогда я купленным сыта не буду...» — только и сказала в ответ.

«Да разве у всех, кто молоко пьет, есть корова?» — пыталась убедить ее Анна.

«У кого своего нет, тот не пьет, а пригубливает... — не сдавалась мать и добавила: — Да разве выкормила бы я вас всех грудью и покупным? Ну скажи ты мне, если не будет коровы, не будет другой живности возле хаты, для чего таким, как мы, по земле ходить?» — и усмехнулась виновато.

И опять пыталась Анна соблазнить ее заманчивостью жизни в гостях у каждого из детей, необходимостью отдыха от изнуряющей, уже непосильной работы. Но мать только рукой махнула.

«До той поры счастлив человек, пока не нужно ему воду из чужих рук пить...»

И все же сказанное при этой встрече растревожило ее душу...

Вдруг пронзительно ясно увидела: наступит такая весна, а быть может, осень, когда не поднимется больше на Ясеневую... Хорошо бы расстаться им без боли... Да не выйдет, по-прежнему будет гора зеленым наваждением глядеться в поднебесье, а мать там, в долине, смотреть на звездное небо из окошка хаты... Веками красоваться Ясеневой, но принадлежит она матери навсегда, как криничка, которую выкопала там, как дорожка, что ведет к ней, как нива на крутом склоне, и все это тоже станет вечным... А когда затоскует, захлебнется печалью от разлуки с той, что всю долгую жизнь была для нее колыбелью, унесет Ясеневую в своем сердце в самую дальнюю дорогу, хоть и останется гора людям, которые придут через многие годы...

Долго еще текла их беседа, и Анна многое услыхала впервые. И только с глазу на глаз можно было говорить о горе. Так вот и зашел разговор о том, в какую пору года, в каком убранстве хотелось бы матери унести с

собой в памяти волшебницу Ясеневую. Тогда ли, когда подуют теплые ветры, прилетят первые птицы, запестреют первые цветы и поплывет над костром первый легкий дымок? Или когда все зазеленеет, все будет напоено обильными дождями и обласкано солнцем? А может, когда лягут под косами травы и все вокруг станет похожим на светлый праздник?

Но мать так явственно увидела сказку белого инея, которая явилась ей нежданным чудом, что, вспоминая, даже глаза прикрыла ладонью.

Однажды зимой на рассвете собрались на Ясеневую за сеном. Муж, правда, не хотел, чтобы поднималась, беременная, по крутосклону. Боялся за нее, говорил, что управится сам. Пустые слова! Знала ведь, как трудно там в одиночку — только последний бедняк или неудачник мог пойти на гору без напарника и без подмоги... И не согласилась остаться дома.

Микола удивился, так легко и быстро шла она по крутой тропе, обгоняя его. Правда, идти с санями было труднее, хоть тяжесть не бог весть какая, а все же тащить по обледенелой дороге несподручно...

Она подавала сено, а муж старательно увязывал, чтобы не растряслось по пути. Кормам в морозы цены нет, да и какой это хозяин, что летом накосил, а зимой потерял! Работа у них спорилась — денек выдался солнечный, ветер улегся, стужа не донимала. Время шло незаметно, и дело близилось к концу. Микола еще хлопотал, подбирая остатки, а она не спеша стала спускаться по склону. Небось догонит — сани сами поторопят...

И вдруг вдали от хижины, на поляне пришла к ней незнакомая щемящая радость — женщина ощутила в себе новую жизнь... И сразу все изменилось: она стала не той, что была здесь, хлопотала, собиралась в обратную дорогу... И поняла: никогда больше не будет прежней, такой, как до этого пронзительного чувства в лоне своем... Ушло все, что казалось важным, его сменило новое — самое главное, самое существенное...

Микола скрылся за поворотом, а она не могла сдвинуться с места, отвести глаза. Перед ней расстилалась пелена искрящегося инея, и все светилось, сияло, слепило белизной... Солнце уронило косые лучи, расцветив снега нежными переливами голубого и розового... Сверкали деревья и кустарники ближнего леска... Кругом

торжествовал другой, неведомый мир, и никогда еще в жизни не доводилось ей видеть такого чуда!

Неожиданно пришла мысль: ведь этот иней лежал с ночи, был он и тогда, когда поднимались с Миколой на Ясеневую. Как же могла ничего не приметить? А теперь вот оно, откровение, и сама она праздничная, легкая, будто выросли крылья — только взмахни ими и взлетишь! И помчалась вниз по тропинке, как девчонка-сорвиголова... А радость эту так и пронесла через всю жизнь...

Анна видит, мать сейчас далеко-далеко... И не нужно спрашивать, в каких краях бродят ее мысли, кого встречают, с кем беседуют... И когда вернется из страны воспоминаний в хату, где прошла жизнь, где росла семья, откуда дети ее, как птицы, улетели в широкий добрый свет... Анна почувствовала, как наполнилась душа теплом родной хаты, памятью о колыбели и первых шагах по стежкам-дорожкам, что увели ее от этого порога в большую жизнь... И не нужно ей сейчас ничего, кроме материнской ласки и вернувшейся сказки милого детства... Пусть на минуту... Но оставит она целительный след навсегда...

«Какую же судьбу дашь мне?» — слышит слова матери.

«Какую же судьбу?..» — повторяет Анна. И понимает, круг сомкнулся, и разомкнуть его разом не так просто...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ БЕЛОЙ ЧЕРЕШНИ

Колеса вагона отбивали на стыках рельсов убаюкивающий, монотонный, докучливо-дремотный перестук — состав узкоколейки неспешно катился по долине Тересвы, держа путь все вверх и вверх.

Неподвижно стояла у окна, вслушиваясь в ритмичный звук. И забылась, засмотрелась на проплывающую мимо узкую расщелину, распахнувшую холодную голубизну рассветного простора. Дорога бежала мимо полей, уже зазеленевших нежными майскими всходами, мимо родниковых овражков и одиноких деревьев, за-

стывших в предутреннем покое, мимо дремучих зарослей лещины, грабов и черной ольхи, в которых словно затаилась лихая, колдовская сила, что переплела-перепутала каждую ветку...

Поезд, вырвавшись на открытое пространство, перестал натруженно пыхтеть — дорога впереди стелилась прямая, без поворотов. Впрочем, длилось это недолго, быстро проскочили этот участок и снова очутились в ущелье. Одна его сторона нависала горой, поросшей густым, темным лесом, с другой шумела и бесновалась Тересва. Река здесь то кипела на порожистых перекатах, разбиваясь на тысячи сверкающих брызг, то коварно разливалась в тихие заводи, подмывая скалистые глыбы, которые громоздились тут от века, ибо не было силы, способной их сокрушить.

Несмотря на красоту, что расстилалась за окном, Василину охватил невольный озноб: состав, раскачиваясь, мчался по краю ущелья, и сделалось не на шутку страшно, а вдруг сорвется в бездну...

Все же, поглядывая и прислушиваясь, незаметно задремала. Впрочем, ни о каком спокойном сне говорить не приходилось, слишком была возбуждена непривычным, только веки смежила, чтобы отдохнули глаза. И тут ей померещилось: бредет одна-одинешенька все выше и выше по горным кручам, ноги ступают легко, и сама легка, как воздух... А вокруг, неведомо откуда взявшаяся, расстилается такая белоснежная красота, будто развесил ее какой-то волшебник легкими облачками по окрестным деревьям...

Вздрогнула, встряхнула головой, прогоняя сонливое забытье. И въяве увидела на обочине серебристое деревце. И, не зная еще почему, стала торопливо разглядывать его, будто видела такое впервые в жизни...

Крона-облачко! Поезд бежал мимо, а деревце высоко поднимало белый стяг весны, и женщина из окна вагона неотрывно смотрела, как уходит к горизонту светлое видение. Отвела взгляд, только когда оно исчезло...

Оперлась на столик, закрыла глаза... Это путешествие отодвинуло многое и, подарив воспоминание о белом цвете черешни, вернуло в плен первых, еще юных материнских чувств... И разлился вокруг аромат цветущих деревьев, и опять стояла она на рассвете перед хатой, будто повторялась давняя сказка тех дней...

Звездное небо сливается с вершинами гор. Немолчно шумит Тересва. Луна высветила деревья околицы, черным покрывалом теней вжав в землю соседские приземистые хатки.

Село еще спит. А она в самую полночь проснулась от боли и, что только не делала, глаз больше сомкнуть не могла... Знает, все тревоги, все страдания ее. Помочь здесь не может никто, пройти через это нужно самой. И ведется так с незапамятных времен, когда первая мать дала жизнь первому ребенку. В этом и есть, наверное, высокая тайна долга и предназначения. И оттого молит об одном: пусть будет утро счастливым, пусть будут здоровы и дитя и она...

Была уверена, должно это произойти месяца через два, и Микола как раз вернулся бы с заработков... Даже не сообразила, что с ней, но, когда не смогла уже и места себе найти, поняла и выбежала во двор.

В мире царила тишина. Все было наполнено ею — и предрассветная ночь, и село, и нивы, и опушенные первой листвой деревья, и темнеющие горы... И стало от этого будто легче...

Много приходилось слышать бабьих россказней про ведьм и злобных оборотней, что превращаются по ночам в разную вредную погань, но сейчас твердо была уверена — никакая нечистая сила тронуть ее не посмеет. Ведь уже не одна — во чреве ее невинное, безгрешное существо, а с ним неподвластна злу и она... И стояла, успокоенная, под старой яблоней, дышала чистым предутренним воздухом, казалось, вливал он в нее чувство смелости и уверенности...

Легкий ветерок чуть тронул ветви, и до нее долетел пьянящий запах цветущей черешни. И ведь каждую весну видела эти деревья, росли они на пригорке поодаль от хаты, но такой хмельной аромат услыхала впервые...

На минуту забылась, и боль вроде бы отпустила. Так и стояла посреди весенней ночи, ощущая тревожное материнское счастье — быть наедине с собой.

Замерзли босые ноги. Нужно было возвращаться.

В комнате оперлась на подоконник и загляделась в окно — не понимала еще толком, как будет дальше. Когда почувствовала слабость, прилегла, даже задремала незаметно. И приснилось, что поднимается к пригорку, где белые-белые черешни, ноги чувствуют нагретую солнцем землю, а сама она вроде не по траве идет, а плывет... Когда очутилась в густой черешневой роще,

подул ветер и полетели белоснежные цветы так щедро, что всю ее засыпали-закружили метелью лепестков, подняли ввысь, освобождая от всего будничного и случайного...

Пришла в себя от пронзительной, разрывающей боли.

В хате было холодно, но еще хватило сил растопить плиту, поставить на нее воду. Поняла, все случится очень скоро, и она должна помочь себе сама. И все же выглянула в окно — нет ли там кого, может, кто из соседей близко?

Неподалеку шла по своему подворью Параска. Василина окликнула ее, и соседка не была бы доброй соседкой и женщиной, если бы не отозвалась. Мать целой кучи детишек, небольшая росточком, быстрая, она тут же появилась на пороге — знала, в каком положении молодая женщина, знала и то, что дома у нее никого нет.

В момент окинула хату опытным взором, видно, сразу хотела убедиться, все ли здесь готово для появления младенца. И удивилась:

— Разве уже время?

— Не по времени... — сжала руками поясницу, будто хотела что-то придержать.

— Может, тяжелое поднимала?

— Нет...

— Выходит, дитя само на свет божий просится?

— Я считала, еще месяца два, — простонала в ответ.

Соседка растерянно смотрела на нее, но тут пришла новая схватка боли.

— Ложись, голубка, скорее. Пускай явится, нам на радость, здоровым и счастливым! А в чем купать, чем пеленать, все есть? — Параска принялась поспешно подкладывать дрова в печь и тут же проверила, хватает ли воды в ведре.

Василина осторожно, медленно шла к своему ложу — нескольким доскам, положенным на две скамейки.

А потом, измученная, ослабевшая, видела как в тумане — возится соседка с младенцами. Выходит, родились близнецы...

— Здоровые парни вырастут, тьфу-тьфу, не сглазить бы! — от души радовалась новорожденным соседка и чувствовала себя не просто в хлопотах, а в хлопотах

праздничных... Издавна так повелось на Верховине, детишек полно в любой хате, но чем меньше она и беднее, тем их больше...

Сама Параска одарила мир не единожды, пришлось ей купать, и пеленать, и кормить, и растить, разве только с двойняшками дела не имела... И теперь командовала во всеоружии своего опыта, которого вполне хватило бы не на одну молодую роженицу...

Ребятишки лежали уже на печи — эта первая колыбель впервые дарила им тепло домашнего уюта.

А молодая мать спала. Лицо ее было измученным, но сны, видно, снились хорошие — Параска заметила, губы женщины улыбались ласково, успокоенно.

— Сыночки! — встрепенулась и окликнула, будто не верила, что все и вправду сбылось.

— Мальчики... Сынки... Дай им, боже, счастья, а вам от них утехи! — Соседка от души разделяла материнскую радость.

И через годы долетел до матери аромат цветущей черешни, той, что стояла на пригорке поодаль от хаты, ведь почему-то именно сюда бросилась искать спасения, когда пришли первые боли...

Так явственно встало перед ней прошлое, таким было живым, словно случилось вчера, а не полвека назад... И здесь, в вагоне по дороге на Усть-Черную, первым в том далеком утре вспомнила доброго своего отца Федора... Когда Параска сделала все, что полагалось, и возвращалась домой, забежала порадовать новостью родителей Василины. Мать, разбуженная нежданной гостьей, тут же отсыпала для дочки белой мучицы — хорошо, что родились детишки здоровыми, для такого случая ничего не жалко! Отец прихватил горшочек масла, десяток яичек и поспешил со двора.

Разложил гостинцы перед дочкой и принялся стряпать по давнему крестьянскому обычаю ту легкую, первую после родов пищу, что никому никогда не вредила.

Задумчивым, сосредоточенным был в тот день отец. Пока доваривалась жиденькая похлебка, растопил масло, подсушил листочки мяты и зернышки тмина — не для еды, для лекарства... И думал, наверное, не только о том, как обрадуется сыновьям молодой зять... Надеялся, что сменит наконец сват Петро гнев на милость, станет мягче с невесткой, которую так не хотел для

своего сына... Да мало ли о чем думают люди при всяких неожиданных происшествиях и случаях?..

Поезд укачивал, и она задремала, устав от бессонной ночи. И опять увидела отца — он внес в хату старую колыбель и подвесил на тех же крюках, на том же месте, где висела она издавна, баюкая всех детишек их рода... И опять стояла с первенцами на руках под цветущими деревьями, и кружились вокруг легкие белые лепестки... Но тихая дрема вдруг прервалась: откуда-то — не с печи ли? — закричали ее мальчишки так молодецки, так звонко, будто не кормили их целую вечность! Вскочила спросонок на ноги и поняла, это звякают тормоза. Поезд замедлял ход, в окне мелькали станционные постройки.

А черешня в белоснежном уборе, что осталась в межгорье, по дороге на Усть-Черную, была уже далеко-далеко...

НИЩЕТА

Ножницы как ножницы... Два колечка для пальцев, винтик посередине и два острия, как две острые ножки. Может, от них и название пошло?

Висят на гвоздике, что вбит в наличник окна. За долгие годы почернели, состарились от работы по хозяйству, теперь вот висят спокойно. Одно острие нацелилось в беленый потолок, другое хочет уткнуться в пол... Есть в этом что-то непостижимое: один кончик в землю стремится, другой в небо... А если уронят их на дощатый пол, тоненько, обиженно звякнут: мол, ни за что ни про что обидели...

Но почему именно эти ножницы, простые, обычные, пришли ей сейчас на ум? Что напомнило о них?

Мальчик! Мальчик на зеленой полянке возле речки... И еще...

Спешила по дороге на Русскую Мокрую. Торопила та заветная мысль, что лишила покоя, отняла весеннюю ночь, поманила сказкой далекой молодости...

Отгромыхал поезд, а звук его в ушах. Но теперь слился он с неустанным шумом реки — красовалась она перед взором то извилистой лазоревой лентой, то глубокой зеленью водоворота у скалистого переката, то

серебряным блеском быстрины. А ниже по течению успокаивалась, играла мелкими веселыми волнами. Хорошо здесь человеку думать и мечтать...

Динь-динь-динь — долетел до нее звон колокольчика и спрятался в ближней чаще.

«Где же стадо?» — она знала, такие колокольчики привешивают овцам, значит, пасутся где-то неподалеку.

Вышла на открытую полянку, отсюда как на ладони просматривалась искрящаяся быстрина реки. Показалось, что-то стеснило грудь — на краю дороги сидел мальчик с книжкой в руках. Видно, так зачитался, что и не заметил, как подошла женщина. Рядышком паслись овцы и корова.

— Добрый день, милый! — поздоровалась с пастушком.

Он поднял на нее удивленные глаза и привстал.

— А ты молодец, старательный, вон какое стадо пасешь! Ну, здравствуй еще раз!

Мальчик смутился, лицо его вспыхнуло ярким румянцем, но голубые глаза светились любопытством.

— И вам добрый день, — наконец ответил и заложил страницы зеленым стебельком.

— А кто это так обкорнал тебя, сынок? — спросила недоуменно. И правда светлые прядки парнишки были уродливо, вкривь и вкось выстрижены — хороший хозяин по весне аккуратнее снимет руно с овцы...

— Да тато... — ответил, не скрывая обиды.

— Зачем же он?

— В наказание...

— А как же ты провинился?

— Утром погнал стадо, все колокольчики у овец были... И на Цыганке, и на Муреше, и на Букулайке... А когда обратно пришли, на Цыганке нету... Видел я, что он потерялся, да времени искать не осталось — в школу опаздывал... Тато бить хотел, а мама не дала. Тогда он ножницы схватил и кричит: «Садись, негодник, я тебя так постригу, век помнить будешь, как свое беречь!»

— А как тебя зовут?

— Петро!

— Выходит, Петрик, и мама не смогла защитить? — Ей стало жалко мальчика — волосы, конечно, украсили бы его...

— Ой, не знаете вы тато! Он что задумает, ему сам царь не указ!

— Смотри, какой решительный.

Достала из торбы два яблока, протянула пастушку. Он посмотрел на них так, словно сомневался, ему ли предназначен гостинец.

— Дают — бери, бьют — беги! Тебе это, тебе...

— Спасибо! — Мальчик улыбнулся, сверкнув ослепительными зубами, они были один в один, будто выточил их искусный мастер. — А знаете, колокольчик потом нашелся...

— Скажи, пожалуйста! Где же?

— Я за коровой побежал, слышу, звякнуло что-то под ногами. Смотрю, а он у пенька лежит...

— А тато что?

— Не захотел обратно повесить. Говорит, пусть теперь Цыганка так ходит, чтобы ничего больше не теряла... А мама сказала: возьми ножницы и постриги тато!

— Ну а ты?

— А я не хотел! Я не сержусь... Волосы еще лучше вырастут, они любят, когда их стригут...

— Ешь яблочко! Зачем в карман положил? Вот как оттопырился...

— Это я для сестрички спрятал!

— Добрый ты, как погляжу! — Погладила жесткой ладонью головенку и почувствовала ее солнечное тепло.

Вот перемолвилась с парнишкой и вроде бы передохнула.

Но нет! И здесь не было отдыха... Память снова вела ее, на этот раз от стриженого мальчика к ножницам, к тем самим ножницам, что столько лет верой и правдой служили в хозяйстве...

...Когда Якову Готуру полегчало, родные подумали, что тяжелый недуг отступил, но больной приказал позвать всех домашних: сыновей и дочерей, зятьев и невесток — всех, кто был принят им в семью наравне с детьми.

Места на скамейках и табуретках хватало, но никто не сел, все окружили постель и ждали, что скажет старик. Долгая болезнь измучила его, и он, собираясь с силами, переводил взгляд с одного на другого... Попытался поднять руку, словно хотел указать на что-то, но тут же уронил на покрывало... И была в этом жесте не только безнадежность прощания, но и последняя воля, и последнее усилие...

Все затаили дыхание.

Готур наконец нарушил молчание. Он говорил медленно, выразительно, видно было, все обдумано и решено загодя, а теперь нужно только получше растолковать...

И домашние еще раз выслушали, что долгов у отца нет, и еще раз, где лежат доски, заготовленные на гроб, и на какой меже растет кряжистый дубок, из которого следует вытесать два креста — ему и давно умершей жене, и во что одеть, и сколько заплатить за церковные требы от похорон до годовщины...

Когда все было повторено и перечислено, кое-кто из женщин уронил слезу, но над постелью опять поднялась рука, старик, словно раздумав умирать, указал на наличник окна — там висели старые ножницы. Употреблялись они при стрижке овец, да и в хате при всяких хозяйственных надобностях шли в дело. И вот теперь...

— Бороду подстригите... Чтоб порядок был... Усы оставьте, а то примут за бабу... — и были эти слова последними в его жизни.

Заголосили женщины, но Готур уже ничего не слыхал.

Когда Миколу, умеющего столярить, пригласили мастерить гроб, дед Яков был уже так обряжен, словно собрался в далекое веселое путешествие и прилег на скамейку просто передохнуть... Непривычно было Миколе видеть Готура таким, когда зашел в хату, чтобы снять мерку для последнего его пристанища.

— Как это вы так гладко старика побрили? — удивился гнусавый Юр Канюка. Ему тоже нужно было снять мерку — могилу копать.

Догадливая хозяйка поднесла полстакана горячительного, а Данила Развора, зять умершего, охотно объяснил:

— А мы сначала ножницами... Он весь год не давался, вот и оброс...

— Ну а потом? — продолжал любопытствовать Юр, словно сейчас это было самым существенным...

— А потом цирюльник Григор Веребиция порядок навел... — Подвыпивший Развора хихикнул, показывая редкие зубы.

Негоже такое при покойнике, даже чужие осуждающе переглянулись. Впрочем, слабость Данилы родственники знали и оттого ничему не удивлялись...

Поднесенное добродушный могильщик с удовольствием опрокинул, смачно крякнул, утерся заскорузлой ладонью — казалось, была она в кладбищенской глине — и направился к дверям. Но Степан, старший сын старика, остановил его:

— Возьмите, Юр, эти ножницы и забросьте в реку! Раз уж послужили мертвому, не годится им больше живым служить...

Все молча смотрели на старые ножницы. Сейчас здесь распоряжался старший в семье... Озабоченный похоронами, Степан не пил ни капли, ведь на нем лежала вся тяжесть печальных хлопот. К тому же за несколько дней до смерти с ним наедине разговаривал отец, может, доверил последнюю на земле волю... И Степан сохранял благородное спокойствие и рассудительную сдержанность.

— Так вроде могут еще пригодиться... Жалко в воду... — прогундосил могильщик — впервые услышал подобное за годы кладбищенской службы обществу.

— Правду говорите, Юр! Ножницы еще хорошие, да и сделаны из доброй стали... Грех их с моста в речку кидать! — Микола, чтобы рассмотреть, придвинулся поближе, и тут углядел в центре острых, совсем еще пригодных кончиков треугольничек с каким-то выдавленным словом. — Золинген! Вот это сталь! Из нее самые дорогие бритвы делают, такие и не укупишь!

— Какие ни есть, пусть уйдут из дома... Купил их покойный отец в первую весну, как поженились они с с мамой, царство ей небесное... — Степан говорил с грустным недоумением: мол, как это так, пережил никчемный кусочек металла человека и отпущенный ему некороткий век?

— Грех после мертвого бросать в живую реку! Может, пусть лучше еще послужат? Возьмет их кто-нибудь в руки и вспомянет Якова Готура... — Микола держал ножницы, разглядывая, будто оценивал, смогут ли и вправду сгодиться в хозяйстве.

Присутствующие внимательно слушали речь Миколы, видно, он в самом деле знал всему цену.

— Ну, ежели так, берите себе! Раз не годится в реку кидать, пусть будут вам на память об отце... — охотно согласился Степан и закончил на этом разговор.

Могильщик Канюка, подсчитывая зарубки на жерди, вышел из хаты.

Опустил Микола ножницы в карман и отправился ла-

дить гроб. Приготовленные заранее доски стояли у стены хлева, невольно вызывая горькую мысль: вот жил человек долгие годы, пахал, сеял, строил жилища, радовался и печалился, исходил столько дорог, а в конце всего несколько досок...

Следом за Миколой вышла во двор пожилая женщина и начала уговаривать:

— Не приведи тебя господь стричь этими ножницами детей или, скажем, овечек — и волосы и шерсть перестанут расти, как заклятые! Нельзя ими в живом деле пользоваться, латку еще можешь выкроить или лоскуток какой отрезать...

Юр Канюка отошел уже далеко от хаты, когда Микола совсем было собрался окликнуть его и посоветоваться — ножницы-то выходит, оказались опасными... Ведь напоследок послужили они своему хозяину, что лежал теперь, обряженный в далекую дорогу, и не оставил распоряжения, как же теперь поступить с ними...

Долго сидел Микола и размышлял: эх, кабы завещал умерший ножницы на память тому, кто смастерит гроб... Ведь не случалось еще такого, чтобы забирали на тот свет полезное для живых.. И решил наконец: раз на хозяйстве у него ножниц отродясь не бывало и купить их накладно — лишняя копейка на дороге не валяется, а жена при надобности каждый раз у соседей просит, — значит, так тому и быть, пусть остаются... Не дозналась бы только Василина про их последнюю работу! Словом, все сомнения развеялись по ветру, и он принялся строгать доску.

И обрадовался, что не окликнул могильщика.

— А я все равно дозналась! — сказала вслух и оглянулась, не слышит ли, часом, кто. Неловко с собой разговаривать... И опять задумалась...

«Силы небесные! Как вскрикнул, как побледнел, когда этими ножницами Юлинке пуповину перерезали — ножика под руками не оказалось...»

И встал перед ней тот давний зимний рассвет и рождение девочки, что не прожила и двух недель... Даже после похорон не спросила мужа, что в тот день так напугало его. Только потом не выдержал, рассказал все... Чувствовал за собой вину...

«Забрал старый Готур Юлинку к себе...» — только и сказала, чтобы успокоить его, хватало ей боли и муки!

Собралась потом забросить ножницы в одичавшие кусты ежевики, да, как рассудила, что нечем будет и латку выкроить, раздумала и спрятала подальше.

Из-за поворота, который справа от дороги опускался к ущелью, где шумел водопад, а слева упирался в нависшую скалу, показалась женщина. Видно, скучно шагать одной, вот и поторопилась нагнать Василину. А та хотела избавиться от мыслей о прошлом и тоже обрадовалась спутнице...

ПОГРЕМУШКА

Золотисто-оранжевый медвежонок смотрел на реку и зеленеющие горы круглыми блестящими глазами. Он лежал в прозрачном пакете, сквозь который виднелся ярлык с ценой. Василина разглядела его, когда молодая женщина поравнялась с ней.

— Бегу, бегу, никак не поспею! — засмеялась раскрасневшаяся попутчица, сбрасывая клетчатую косынку.

Пошли рядышком, разговорились.

Оказалось, женщине по дороге с ней до Русской Мокрой, навещала она в Ужгороде мужа, который лежит в больнице после несчастного случая, а сейчас вот спешит домой, волнуется: как там детишки? Трех малышей оставила на попечение старшей...

— А медвежонок у вас как живой! Где вы такого смешного купили? Ну прямо вот-вот заговорит! — Василина засмотрелась на забавную головку и блестящие глазки, которые выглядывали из пакета.

— Собираюсь из дому, а каждый просит: привези да привези... Вот и пришлось... И решила: за шоколадку выложишь деньги, ребенок съест ее, и нету... А тут надолго забава будет и малому и большому... Ну, конечно, и конфет рубля на три купила, побаловать малость...

Женщина из Русской Мокрой была словоохотливой и не то чтобы хотела пожаловаться на траты или поделиться чем-то, просто нужно ей было, чтобы посочувствовали, больно уж нагрузилась покупками...

— Давайте помогу! — Василина протянула руку к сумке попутчицы. Свой груз она не считала — буханки хлеба не казались тяжелыми.

— Что вы, спасибо, сама донесу! Уже недалеко... — неохотно отказалась спутница, хотя, по совести, трудно было сказать, кому из них тяжелее — ей, молодой, иду-

щей из близкого Ужгорода, или пожилой Василине, пустившейся в дорогу из своего Дубового с торбой за плечами...

— И сколько вы за этого медвежонка отдали? — Василина спрашивала, не только чтобы продолжить разговор. Ей самой плюшевая игрушка казалась забавной и редкостной.

— Пять рублей выложила и за куклу, что глаза закрывает, тоже пять... А самому маленькому такую машину купила, что сама бегает, только завести нужно, как будильник. — Женщина с удовольствием перечисляла все, что купила, и сколько заплатила. Это была не только женская говорливость, звучало в ее словах сердечное материнское тепло...

Какое-то время шли молча. Наверное, спутница представляла себе радость детишек при виде гостинцев и предвкушала ее. Пока ехала в поезде, все покупки представлялись обычными, будничными, а сейчас чем ближе к дому, тем становились дороже. Вначале скупилась, не хотела выбрасывать деньги на баловство, распределила все иначе, но муж наказал накупить побольше... И теперь сама с удовольствием рассказывала:

— Знаете, я жалела деньги на пустяки, игрушками детей не накормишь! А он — купи и купи! Хочу, говорит, чтобы у них радость была... — Женщина словно оправдывалась: мол, не по ее вине получилось такое транжирство...

— А чего жалеть, ведь для детей! Пускай растут здоровыми и счастливыми! — успокоила ее Василина и опять залюбовалась медвежонком: уставился, рыженький, в небо, и шерстка блестит на солнце, как шелковая...

— Пусть и вашим детям судьба подарит здоровье и достаток... — Спутнице хотелось отблагодарить за поддержку и добрые пожелания. — А знаете, дорогая, взрослые сейчас, слава богу, всем могут детей побаловать... Вот и мой выздоровеет, на ноги станет и заработает...

— Конечно, заработает! Вы молодые, все впереди... — согласилась Василина. Она была уверена: муж на радостях велел накупить гостинцев, а жена не удержалась, добавила от себя...

Река шумела, то приближаясь, то удаляясь от дороги.

«...Взрослые сейчас... всем могут детей побало-

вать...» — в который раз повторила про себя и все смотрела на сумку, где красовался глазастый мишка и выглядывала продолговатая коробка с куклой.

Из тумана давно прошедших лет снова пришло к старой матери жгучее воспоминание о той скаредной, жестокой нищете, что опустошала сердца людей... Никому на свете не рассказала бы о пережитом, особенно теперь, когда наступило время, такое щедрое на добро и ласку для детей.

Хватит и того, что память о прошлом неволит, затягивает, как серая паутина... И нет от нее спасения...

Спутница шла молча.

Василина глубоко задумалась. Что встало перед ее мысленным взором? Что видела?

Дома оставила малышей на Маричку, а сама пошла с Васильком поглядеть на ярмарку. Лучи теплого летнего солнца падали на головку мальчика, он крепко держался за мамину руку, чтобы не потеряться в толпе, которая растеклась по всей длинной главной улице села. Здесь заранее уже установили брезентовые палатки, подняли навесы лавок и так поставили столы, чтобы был между ними проход.

Мальчик хотел видеть все сразу, и матери приходилось беспрерывно дергать его за руку — ее тоже увлекло красочное, пестрое зрелище...

На просторной площадке устроились нищие; каждый выставлял напоказ то, чем обездолила злая судьба, — незрячие глаза, культи рук и ног, незаживающие раны, жалкие лохмотья, едва прикрывающие тело...

Василина достала узелок, высыпала на ладонь мелочь, и каждого оделила по возможности — кому бросила в рваную шапку, кому положила в тарелочку. Шершавая материнская рука одаривала убогих, о которых обязан помнить и заботиться тот, кто здоров...

— Чего это вы, мама, всем-всем денежки даете? — спросил Василько — калеки испугали его.

Мать не ответила, нахмурилась и молча пошла дальше.

— Мама, отчего вы каждому подали, кто только просил? — не успокаивался мальчик. Мал был еще, не мог

понять смысл благодеяния — доброго народного обычая, освященного традициями.

— Никто, сынок, не заговорен от бедности и несчастья, от огня и воды, и до смерти человек беззащитен... — наконец ответила мать, голос ее терялся в гомоне ярмарки. И словно вдогонку им высвистывала, заклиная, дудочка исклеванного оспой слепца.

По ярмарке ходила недолго. Да и пришла, только чтобы показать ее мальчику, очень уж просил. Купить, правда, кое-какую мелочь для хозяйства тоже хотела — на более крупное (ох как нужна была одежда!) капиталов не наскребла... Потому и уводила мальчика все дальше от лавок — еще попросит обновку, а что дашь?

Но Василько вовсе не был таким уж покладистым и неразумным. Он быстро приметил натянутый между столбиками шнур с разными цветастыми безделками, а поодаль целое сказочное ожерелье из игрушек... Они сверкали, манили взор, лишали покоя... И уже не мать вела мальчика, он тащил ее за собой, расталкивал детей и пробирался к прилавку. Можно было подумать, здесь бесплатно раздадут все, что приглянется....

Непросто оказалось добраться до игрушек. Нельзя выпустить мамину руку — без нее ничего не купишь... А она не проявляла никакого интереса к таким удивительным вещам...

Рядом незнакомый мальчишка со счастливым раскрасневшимся лицом размахивал белой лошадкой на колесиках и одновременно свистел в свисток так, что закладывало уши... Василько застыл на месте и потерял дар речи — он видел чудо, которое и во сне не приснится! Но счастливчик заторопился уходить, будто испугался, что кто-то посягнет на его сокровище...

Невольно мать и сама стала разглядывать заваленный товаром прилавок и развешанные на стенах гирлянды игрушек, вроде бы заинтересовалась не только для ребячьей забавы...

— Ой, смотрите, смотрите, сколько свистков! — Василько увидел кучу сахарных свистков всех цветов радуги. Над ними летали осы, и толстая торговка веничком отгоняла их от приторного товара. — Мама, купите, пожалуйста! — Мальчик просил так жалобно, что тронул бы и каменное сердце...

Отвернулась от сладкого соблазна и засмотрелась на кукол. Они сидели рядышком, одна возле другой, сло-

вно взялись за руки. Круглые личики, синие глазки, пухлые ручки и ножки напомнили маленькую Аничку, когда играла она, пеленая березовое полешко... Подумала: «Купить бы куклу! Вот радость была бы! А на что? Лишнего геллера на сахарный свисток нету...»

Василько подпрыгивал от возбуждения и дергал ее за руку.

— Они плохие, сынок, горькие! — попыталась уговорить. — Зубки заболят, почернеют, раскрошатся...

— Пусть болят, пусть крошатся, а вы купите! — не сдавался мальчик. И в самом деле, сколько раз в своей жизни пробовал ребенок покупной сахар? Где уж тут повредить!

Мордатый торгаш, словно назло матери, выхватил из кучи три свистка и дунул с такой силой, что люди вокруг зажали уши.

— Купите же, мама! — Василько в отчаянии таращил на мать голубые глазенки.

— Подожди, подожди! Лучше я тебе погремушку куплю! — и показала сыну на яркие жестяные бубенчики, они весело звенели в руках лавочника. — Такой все поиграете, а свисток растает во рту, вот тебе и вся ярмарка!

Недавний соблазн был тут же забыт, новый казался не менее заманчивым... А продавец, размахивая пестрой игрушкой, орал, перекрикивая всех:

— За крону! Бери, баба, за крону! По дешевке! Завтра будут по две! — Он чередовал нагловатые уговоры, и мать вконец растерялась. Возьмешь поглядеть, решит, покупаешь! Удивило и обидело: «Бери, баба!..» Впрочем, на ярмарке не до церемоний, и не успела оглянуться, как погремушка во всем своем разноцветном великолепии оказалась у нее в руках. Солнечные лучи отражались в круглых бубенчиках, и Василько представить не мог, что мама не купит такую красоту... То-то всем радости будет!

И погремушка звенела, бренчала, отзывалась такой веселой скороговоркой, что Василина сама радостно, по-детски улыбнулась.

— За сколько отдадите? — посмотрела на лавочника, крепко сжимая узелок с мелочью, которую грош за грошом копили для полезной покупки и надежно хранили...

— Тебе, баба, за крону! — Торгаш явно отводил душу в ярмарочной болтовне. В городе покупатель требо-

вательный, избалованный, ему не всучишь ерунду втридорога, не покуражишься...

— А чтобы купить? Возьмите полкроны! — подумала, может, сам поймет — цену заломил несусветную...

— Завтра, баба, завтра все даром будет! — зачастил сердитой скороговоркой и протянул коротколапую пятерню за своим товаром.

Заколебалась, вернуть или придержать... Но опытный торгаш торопил, и женщина покорно протянула игрушку. Блеснул на ней лучик солнца и разлетелся на мелкие осколки, лавочник бросил погремушку к таким же заманчивым безделицам.

Огорчилась так, словно по ее вине выскользнуло из рук что-то, и вправду добытое задаром... И еще крепче прижала к себе узелок с деньгами.

А ярмарка вокруг кипела, торговалась, гомонила выкриками зазывал, гудением рожков, пиликаньем губных гармошек, пронзительными трелями свистулек... С площадки, где пристроились нищие, долетало жалкое скуление флейты и дудок — и там каждый на свой манер выпрашивал геллер.

Странно, Василько, что держался за мамин подол, уже не дергал, не просил. Неужто и мальчик понял издевку жуликоватого лавочника?

— Может, отдадите за шестьдесят геллеров? — Мать накинула десять в надежде сторговаться и тут же пожалела, хватило бы и пяти...

— Бери за восемьдесят! — ответил небрежно и протянул итальянскую губную гармошку здоровенному парню. Тот явно был при деньгах и красовался в новой, купленной здесь же шляпе, за витой шнурок которой заткнул букетик искусственных цветов с зеркальцем посередине.

«Взять, не взять?» — Право, можно было подумать, что стоит она посреди реки и видит вдали желанный берег...

— Хорошо плачу — целых шестьдесят геллеров!

Торговец будто оглох.

Решила: одних слов недостаточно! Добыла из заветного узелка ровнехонько шестьдесят геллеров, остаток поскорее спрятала обратно, протянула руку с деньгами так, чтобы были видны, и звякнула медяшками.

— Я уже плачу, пан хозяин! — Она попыталась перекричать ярмарочную толпу, а как же, ведь не что-нибудь — погремушку покупает!

Лавочник быстро собрал высыпанные на ладонь монетки. И, не досчитавшись, заорал во всю глотку:

— Глядите, люди добрые, баба обдурить хочет! Сторговались за восемьдесят, а что дает?! — и дразнил — тряс звонкими бубенчиками.

На звяканье подошла молодица в красном платочке с ребенком на руках, и лавочник протянул ей игрушку, словно именно она должна была рассудить спор.

— Отдаю по дешевке...

Василина растерялась: глядишь, так и продаст выбранное, облюбованное!

Женщина смущенно улыбнулась — ребенок тянулся к погремушке. Лавочник выбрал самую яркую и отдал им.

«А если бы мою...» — подумала, и сердце екнуло, забилось...

Выложила-таки эти двадцать геллеров... Но, когда представила, сколько будет радости у детей, медяки и вправду показались нестоящими...

Пытался Василько выпросить еще и сахарный свисток но мать поскорее увела его от прилавков и заторопилась домой. Пришлось поспевать за ней вприпрыжку. Но зато по дороге, когда ярмарочная толпа поредела и не страшно было, что выхватит кто-нибудь у ребенка драгоценную покупку, отдала наконец ее мальчику, тут уж вволю мог он наиграться и налюбоваться!

Подошла еще к одной палатке. Здесь соблазнилась алюминиевыми ложками — продавец бил ими по столу в доказательство прочности своего товара — и выложила целую крону за полдюжины... Сторговала еще для детей по дешевому бублику, и была это настоящая ярмарка с изобилием товаров, с толпами шумных людей, которые разглядывали, приценивались, торговались, а бывало, и жалобно упрашивали...

Прошли годы. Прошло уже много-много лет...

Но отчего именно та давняя летняя ярмарка вспомнилась сейчас? Отчего именно ее не может забыть? Чем растревожила душу?

Ссора! Ссора Миколы с ней!

Как только увидел погремушку, дара речи лишился. Василина видела все так ясно, будто случилось это вчера... Была она доброй, незлопамятной, но щемящая боль от бессмыслицы и жестокости той проклятой нищеты не уходила из памяти сердца...

«Ты небось на заработках по чужим краям руки до крови не сбивала... Сорочка на плечах не расползалась от горького пота... Ты... У тебя...» Казалось, скорее придет конец света, чем наступит конец этой ссоры...

Ни словечка не проронила в оправдание, хоть и у нее от тяжкой работы кровили руки, и у нее на плечах расползалась сорочка... Сказала только: купила, мол, погремушку малышам для забавы. А Микола ответил еще злее: «Сыты ею не будут!»

И только когда облила игрушку горючими слезами, угомонился, затих.

Чудеса! Прямо-таки чудеса! Забавные бубенчики, в которых дробились солнечные лучики, когда мечтала она у палатки хоть о самой малой радости для детишек, пока колебалась, платить ли, и пыталась выторговать лишний геллер — после ссоры с мужем эта веселая игрушка превратилась в жалкую немую жестянку, не имеющую ни цены, ни смысла... Даже дети разделили это странное чувство, никто не играл с ней и валялась она на полу, пока кто-то, споткнувшись, не зашвырнул бывшую забаву под кровать. И когда во время уборки выгребли ее оттуда веником, Василина даже вздрогнула. Не откладывая, сразу же закинула подальше в густую кукурузу, благо росла она под самыми окнами. Знала, теперь Микола уже не устроит скандала...

И тут же об этом забыла.

Когда осенью убрали кукурузу и выгнали скотину на опустевшее поле, погремушка звякнула под копытом коровы. И, хотя щедро светило и грело осеннее солнце, лучи его больше дробились на круглых бочках бубенчиков. Василина подняла находку, поглядела молча, и вдруг все, что было связано с ней, показалось таким будничным, таким простым, не заслуживающим ни единого доброго слова...

Чтобы Микола, шагая весной за плугом, не наступил случайно на предмет давнего раздора, забросила погремушку в заросли терна. Послышался глухой треск, видно, попала жестянка на камень и разлетелась...

Не просто вспомнилось прошлое по дороге на Русскую Мокрую — отозвалась старая боль в сердце.

И вызвал все это в памяти смешной плюшевый медвежонок...

ПЫШКИ

В те времена пекла она пышки два раза в году.

Это сегодня можно из белой муки печь и хлеб, если пожелаешь! «Сытые времена настали, не то что было раньше...» — говорят сейчас люди, а она знает это лучше многих и по себе, и по своей семье...

Эх, кабы молодость вернуть! Да не вернешь...

Сказать только, пышки два раза в году! А когда пекли, какой наступал праздник, какой светлый день!

Хорошо бы его всегда вспоминать таким...

Вся история приключилась на второй день рождества и произошла в считанные минуты... А вот поди ж ты, память об этом тревожит до сих пор...

Собрался как-то Микола в зимний день вместе с хозяином Юрием Мигалицко на Делуц. Далеченько была гора, да купил там Юрий по случаю халупку, и теперь нужно было разобрать ее, перевезти и сложить заново. Пригодится еще в хозяйстве и зимой и летом.

День выдался солнечный, хоть студеный ветер пробирал насквозь. Оделся Микола вроде бы по-зимнему, да все на нем ветхое, вот и продрог до полусмерти. Хозяину хорошо в теплом кожухе, и копался он внутри хатки, а Миколу отрядил на крышу, на самый мороз.

Чтобы согреться, работал бедняга как можно сноровистее, а тут уж и солнце стало клониться к обеду, и дымком запахло — хозяин разжег костер к трапезе.

Когда нанимался, спросил: брать еду или хозяйская будет? А Мигалицко с таким гонором: никогда у меня узелки на работу не таскали!

И теперь Микола, поглядывая на его рюкзачок, мечтал об одном: хоть бы припасла хозяйка чего-нибудь жидкого для сугрева... Его Василина при всей бедности никогда не забывала о горячей похлебке...

— Давай иди, перекусить время! — окликнул Юрий.

Микола без лишней поспешности спустился с крыши и принялся оттирать снегом руки.

Хозяин развязывал рюкзачок так значительно, будто находилось там невесть что... Работник смотрел со спокойным достоинством, не проявляя видимого интереса к съестному... Потянулся к горячим углям костра, согрел немного руки и грудь, но спина на ледяном ветру полонины стыла по-прежнему.

Наконец Мигалицко развернул свои припасы: из од-

ного свертка пережаренные, сухие шкварки, из другого старую брынзу, острый запах которой ударил в нос... Со дна рюкзачка добыл кусок замерзшего токана и сам проглотил набежавшую слюну. Но, оказывается, это было не все, на свет появился синий бидончик, замотанный тряпкой по горлышку.

Только собрался расставить полдник на узкой доске, как Микола пристроил снятую с петель дверь на колышки, и стол получился отменный. Выжидая, пока хозяин усаживался, подбирал полы кожушка, работник переминался с ноги на ногу и наконец нерешительно пододвинул себе колоду, чтобы все же оказаться поближе к трапезе.

— Садись! — Юрий махнул рукой, в которой уже зажал шкварки.

— Когда стоишь, больше поместится! — Микола шутил, поглядывая на еду. Странно все же устроен человек: станут приглашать, начнет церемониться! Вот и он медлит неведомо зачем...

— Да не торчи перед глазами, присаживайся! Будешь долго ломаться, опоздаешь! Я и один порядок наведу...

— Не опоздаю, такой полдник грех упустить! Да вы и сами знаете, голодный в работе не годный...

— Ну, если решил на неделю наесться, тогда стой! — Непонятно, то ли хозяин шутил, то ли хотел допечь...

Но время за болтовней проходило впустую, Микола уселся и принялся за еду. И все же, несмотря на голод, душа просила чего-то жидкого, горячего...

— Поставь-ка бидончик поближе к огню, пускай молоко оттает, застыло, наверное. Да заодно сушняка подбрось! И шкварки ешь, до чего ж хороши, хоть старуха их малость пережарила...

Микола хмуро молчал — хваленые шкварки оказались горькими. И подумал невольно, глядя на прожорливого хозяина: «Вот жадность!»

— И брынзу бери, у меня невкусной не бывает! — Заметив, что работник не выражает одобрения, Мигалицко стал еще больше расхваливать свои припасы.

Со стороны и вправду могло показаться, что Микола равнодушен к еде — с трудом прожевал взятую щепотку, вытер руки о штаны и только посматривал, как уминает все подряд хозяин... А тому уже приспело запить сухомятку.

— Подай посудинку! — И сразу же, запрокинув би-

дончик, начал пить такими глотками, что запрыгал кадык на жилистой шее. Напоследок прикинул на глазок, сколько осталось, и нехотя протянул Миколе. — Пей, сметанка, а не молочко! Не было еще у нас такой коровы, храни ее бог от напастей!

И тут работника разобрал смех: прокисшее, разболтанное в дороге молоко было так далеко от сметаны, как гора Делуц от неба! И не выдержал, захохотал прямо в лицо хозяину. Тот заморгал, открыл рот и уставился на Миколу, будто собрался работник сказать что-то неслыханное.

— А? — только и выдавил из себя.

Микола заливался еще пуще.

— А? — повторил Мигалицко.

— Такое молочко моя Василина курам вместо воды наливает!

Это была чистая правда, добрая его жена, когда в великий пост не ели молочного, давала его курам, чтобы лучше неслись.

— Чем вы там кур поите, не знаю, а это первый сорт! — не обиделся хозяин и упорно стоял на своем...

Микола наконец угомонился и допил молоко — что поделаешь, пускай хоть это, раз остальная еда была еще хуже...

Солнце укрылось за тучами, собралось, видно, отправиться на отдых, в длинную зимнюю ночь.

Микола нет-нет и посматривал на крутую, запорошенную снегом дорогу, что вела с Делуца к дому. А тут вдруг такой голод скрутил кишки, что, кажется, даже мускулы сдали... И он принялся бить обухом по бревнам и рушить их на землю так отчаянно, словно хотел заглушить голодное бурчание в желудке и доказать всем: хватит, мол, еще сил у бедняка, чтобы не осрамиться, работая на хозяина, который готов трижды в день есть непотребное...

Незаметно дотянули до сумерек, незаметно стало темнеть. Но здесь, на заснеженной горе, при полнолунии света еще хватало, и хозяин не оставлял работы. Значит, не мог уйти и Микола — самая тяжелая часть дела лежала на нем.

И вдруг вспомнил пышки... Пришли они на ум, наверное, оттого, что здесь, на ледяном ветру, с особой силой потянуло к домашнему теплу, к отдыху возле печи,

постреливающей угольками, к домовитому запаху печеного... А пышки, рассчитанные на все дни рождества, лежали в большой глубокой миске и поставлены были на самую высокую полку, чтобы не дотянулись детишки... Не раз хотелось и самому полакомиться, но только вспомнит, что полна хата малышами, и сразу отпадет охота... Пусть длится подольше их нечастая радость! Сама жизнь учила Миколу терпению и выдержке...

И когда представил себе эту картину, показалось, что ощущает дразнящий аромат пышек так явственно, будто находятся они рядом... Пожалел, отчего не захватил парочку, невелик грех, ведь на заработок для семьи отправился... А здорово было бы смаковать их на глазах у хозяина, да еще и его угостить — пусть знает бедняцкую щедрость и бедняцкий достаток!

С высоких склонов, с полонин неотвратимо опускалась ночная мгла. Сначала укрыла месяц, потом добралась до звезд, что пытались еще поблескивать, и наконец погасила все...

«Не пофартило хозяину», — подумал Микола.

— Ох, беда! Ну, никак не успеем! — сокрушался тот, посматривая на небо.

Зло скрипел снег под ногами — мороз крепчал с каждой минутой. На Делуце царила тишина, все живое затаилось в преддверии ночи. Сейчас стояла та пора зимы, когда стужа была хозяином и властителем здешних просторов, погружающим все в ледяной покой.

Напрасно Мигалицко допоздна затянул работу, ее все равно оставалось с избытком. И поздно пожалел, что выбрались на гору вдвоем — дела здесь хватило бы и на троих! Да уж ничего не поделаешь...

Он придирчиво оглядел руины халупки, прикинул, сколько еще придется доделать, надел на плечо пустой рюкзачок и тронулся в путь.

Шагали молча. И были уже на порядочном расстоянии, когда хозяин вдруг остановился и посмотрел назад.

— А что, выйдет из нее толковое жилье? Как думаешь?

— Хороший домишко получится, — Микола ответил немногословно, хоть, наверное, следовало высказаться щедрее.

Замолчали опять, и каждый под скрип снега размышлял о своем. Кто знает, о чем думал хозяин, но

схитрил и здесь: ветер дул в лицо, и он пристроился позади спутника, так и шагал за ним, помахивая рюкзачком...

На Бабановом бережке сунул на прощание теплую руку и свернул на разъезженную улочку, что вела прямиком к его подворью.

А Микола пустился бегом. Не сразу, правда, боялся, что хозяин увидит и скажет: «Видать, здорово мерзнет голь беспортошная...»

Но чуть позже припустил во всю прыть, так, что снег визжал под постолами, ледяной ветер продувал до груди, и пришлось дышать носом — немного нужно человеку в такой одежде, чтобы потом захрипеть и отдать богу душу.

Впереди показался огонек в окне его хаты, и сразу стало теплее на сердце, будто не было позади долгого дня в тяжком труде... Хорошо, что всему приходит конец, хватило бы только здоровья и терпения! Отмучился, и с плеч долой! А за это весной придет хозяин с волами и вспашет клочок земли у хаты...

«А ведь пышки должны еще быть...» Проглотил при этой мысли голодную слюну, невольно прибавил шаг, и тут, посреди двора, долетел до него звонкий голосок девочки... «Маричка это! Вот певчая птичка растет!» — улыбнулся и перешагнул порог.

Дети обступили его, как же, ведь целый день не видели! Маричка, любимица, уцепилась и не отпускала, пока не взял ее на руки и не приласкал.

— Тато, а знаете... — Ей не терпелось чем-то поделиться.

— Молчи, молчи! Язык у тебя чешется... Ты тоже ела.. — расхрабрилась Гафийка, но на всякий случай отступила в уголок.

— Ой, тато! Мамка пошла корову доить, а Гафийка хотела пышку достать, влезла на стульчик, а там высоко... Тогда кочергу взяла, подпрыгнула, а миска хлоп на пол... Пышки по всей хате разбежались, а мы их давай ловить...

— А что мать? — Микола посмотрел на полку, где еще утром стояла заветная миска.

— А мама всех побила! Гафийку даже березовым прутом — миска-то потрескалась...

Ребятишки притихли. Боялись, видно, сурового отцовского наказания, которое обещала мать: «Подождите, тато вам еще не то покажет!»

Микола опять глянул на полку, и снова почудился ему сытный, дразнящий аромат пышек. Тех, что спекла жена на праздник, присыпала чуточку сахаром и хотела побаловать детей — полакомятся, может, и не досыта, да хоть не буднично...

Больше о пышках не думал. Прижал к себе девочку и спросил:

— И ты ела?

— Ела! — ответила честно.

— Так чего на Гафийку ябедничаешь? — Покачал головой и повернулся к старшей. Но та не шла к отцу, боялась, запомнила, наверное, материнскую угрозу...

— Иди, иди! Ты свое уже получила! — подтолкнула ее мать.

Но девочка продолжала дичиться и зло смотрела на всех из-под сдвинутых темных бровок.

Не тогда ли стал Микола таким хмурым?

Свежие пшеничные паляницы заполнили вкусным запахом крохотную келейку отца Никодима, когда Василина положила на пол торбу и полезла за деньгами. Протестуя, дряхлый отец Никодим замахал сухонькими ручками, словно творил в воздухе крестное знамение.

Они давным-давно знали друг друга, и потому, не обращая внимания, достала из-за пазухи красную десятку и положила на столик для приношений. Сколько воды утекло, старость сменила молодость, выросли дети, переменились не только купюры и монеты — новые времена настали...

— Вам за здравие? — прошелестел отец Никодим тоненьким, как паутинка, голоском.

Мать пришла сюда издалека, ей хотелось вспомнить молодые годы здесь, в этой церквушке, доживающей свой век в глухом горном селе, и доверить свои земные заботы именно этому замшелому, древнему попику...

— Хочу отслужить за здравие, счастье, долгую жизнь и достаток моих детей... Время торопится, уходит, и мы уйдем, вот и нужно бы... — Мать говорила с такой сердечной теплотой, что ее, наверное, достало бы всем: и близким и далеким...

— Отдохните, сделайте милость, пока придет псалмопевец... — Так отец Никодим почему-то величал дьяч-

ка. И гостеприимно указал на скамеечку, покрытую вытертым ковриком.

Только когда опустилась на нее, почувствовала, как устали ноги за долгую дорогу.

— Поминать-то кого? — Отец Никодим смотрел вопросительно, ожидая бумажку с перечислением имен.

Списка не было. Пришлось самому достать тоненькую школьную тетрадку и, отдавая дань дотошной памяти Василины, переписать всех, кому следовало возгласить многолетие: сыновей, дочерей, зятьев, невесток, внуков и прочую немалую родню...

Пока занимались этим делом, пришел и дьячок. Седобородый, ветхий, как попик, он отличался от него только лысиной да слезящимися глазами, что глядели будто сквозь пелену.

Вышли из хатенки, служившей жильем отшельнику Никодиму, и направились к церквушке. Обитая дранкой, потемневшей от времени, ветров и ливней, она, казалось, была выстроена с расчетом, что служить здесь придется невысокому ростом причту, а прихожане подберутся ему под стать...

Достала Василина из торбы паляницы, завернутые в белоснежную скатерку, и слюнки потекли, так захотелось поесть с дороги. Но посчитала это соблазном и прогнала искушение.

Дьячок тараторил на клиросе, выхватывал из толстой книги слова молитвы. Василина стояла неподалеку, там, где было место пожилых женщин, и слышала его голос, но смысл слов до нее не доходил. Она думала не о молитве, даже не о том, что привело сюда, просто снова как бы открывала неожиданное, что могла она побыть наедине с собой, забыться, рассеяться...

«Пускай себе молятся, им положено деньги честно отработать... А я иначе буду, по-своему, сегодня мой праздник! Да и то сказать, не всякая мать доживет до такого дня, чтобы ее сыновьям полвека исполнилось!» — и глянула на чинно лежащие паляницы: каждому сыну по ароматной буханке.

Мысли текли спокойные, а дьячок, нагоняя дрему, все тараторил так, словно кто-то подгонял его.

«Пускай молится! А я за все свои думы и тревоги, за материнское вековечное терпение вознесу хвалу земле и небу! И за радость, что есть у меня сыны, что желала им всегда только счастья и добра... И еще за то,

что множится, растет наша семья и не было в ней ни единого человека, что опозорил бы род свой злым, нечестным делом... И да будет так во веки веков!» — приговаривала тихонько, будто была в ответе за всех тех, кого родила и вскормила, за внуков и правнуков и за тех, кто придет им на смену...

Баюкала ее добрая мечта о грядущем, но тут же забирала в полон память о временах, которые ушли-уплыли так неостановимо, так, казалось, незаметно, будто и не было их вовсе... А они были...

В такое же весеннее утро полвека назад зацвела для нее на холме за хатой белоснежная черешня... И, когда ощутила незнакомые боли, уже знала: так приходит в мир дитя...

Пятьдесят! Вот сколько ее сыновьям! И снова возвращается в те часы, полные щедрого цветения, материнской тревоги и страдания, когда родила она своих близнецов... Благословенная минута — увидеть в колыбели двух мальчишек!

А годы спешили все дальше и дальше в колыбельных песнях, нечастых сказках для малышей да вышивании им одежонки... Как только приходила весна со своими праздниками, а не оттаявшая еще земля отдыхала в преддверии новых трудов, принималась мать изукрашивать мережками и узорами сорочки для всей оравы. Хорошо хоть старшие — кукушечки-слетки — уже сами брались за иголку, овладевали премудростью мастерства, благо было кому учить... Не покупала шелков-бархатов, не думала о дорогих фабричных обновах, знала: сама может сотворить такую красоту, где там по-крупному тягаться!

Пятьдесят лет! Она разделила их между хлопотами и заботами, радостями и невзгодами всем, что накрепко было связано с детьми, маленькими и подросшими. И не только с ними... Делить довелось и между разными державами, разными флагами и языками, между всеми, кто приходил сюда правителем, паном, хозяином села... Как не помянуть здесь австро-венгерского цезаря и чехословацких президентов, регента Хорти с жандармами в шапках, украшенных перьями, Томаша Бульбаника и ту ночь, когда уводили под стражей неведомо куда ее первенца...

А вот день, когда прибежала Аничка с вестью о русском солдате, что говорит «по-нашему», этот день вспо-

минает, как солнечный свет. С него открылись перед детьми все дороги в жизни, с него распахнули они крылья для полета... Все, что наступило потом, было так непохоже на прошлое, что оставалось только жалеть: эх, кабы пришло на десяток лет раньше...

И все с тех пор стало для нее радостным, щедрым, светлым...

Словно доброе волшебство...

Прислушалась к словам молитвы. Снова ничего не поняла и задумчиво посмотрела на икону: нарисованный мальчик обнимал кудрявую овечку. И опять зримо увидела ту далекую весну, когда нежданно-негаданно разбогател ее Василько — получил во владение белого ягненка с черной кисточкой на хвостике и черными штанишками на задних ножках. Вышло это случайно: зачастил парнишка к соседям, пропадал там часами, у них на хозяйстве подрастали ягнята, и, когда пришла пора перегонять скот на полонину, подарили они мальчику самого маленького... Сколько радости было, как Василько возился с ним, как кормил с рук! Вот и почудилось — тут на иконе не святой, а простой пастушонок, каких много, любят они все живое, растят и пасут с охотой...

И стало на душе спокойно и легко, все в мире виделось простым и понятным.

И незаметно вернулись мысли в привычный мир пастбищ и нив на далеких склонах, где растят все на потребу человеку. И увидела белоголового своего Василька уже не с ягненком, вел мальчик на веревке телку Ружану. Спустился тогда скот с полонины, и хозяева разбирали его по домам.

Вернулась Ружана с пастбища гладкая, сытая, дождями промытая, ветрами расчесанная, шагала рядом послушно, и веревка ей ни к чему, но, видно, была у Василька такая сердечная потребность от сельской жизни, от земли...

«Господи! Вот радость-то была, когда дождались молока от Ружанки!» — вспомнила совсем давнее, как впервые отелилась любимица, принесла серую телочку...

Сердце зашлось от волнения, так ярко увидела прошлое! Как живая возникла перед глазами кума Пиковиха, послышался ее голос, будто случилось все это не годы назад, а вчера...

Будто вчера...

— Юлинку нашу, дорогая кума, схоронили мы в пятницу, а в ночь с воскресенья на понедельник Ружанка телочку принесла... — Мать в чем угодно готова была искать утешения...

Но Пиковихе не хотелось закончить разговор об умершей Юлинке, и она будто не слыхала сказанного.

— Кабы пришло дитя на свет в свое время, не ушло бы... А так поспешило прийти, поспешило и уйти... — Кума щедро делилась мудростью, которую постигла за всю свою жизнь.

— Что вам сказать? — Василина задумалась. Чтобы ответить, нужно было понять самой, вспомнить. — Не знаю, вовремя ли, но, кажется мне, раньше срока... Не виновата она, мой это грех! Не могла уже вытерпеть непорядок в доме, на что ни глянешь, всюду грязюка... Микола ровно трубочист, на детей смотреть страшно! Погода теплая, ребятишек на привязи не удержишь, в хате никого... И принялась я за стирку... Подняла лохань, а меня словно пополам перерезало... Говорю Миколе: беги за повитухой! Вот и весь сказ, вот и вся правда...

Показалось Василине, что здесь слышит она и бабку Якубищачку — полк мальчишек приняла старуха своими руками в Дубовом, а уж девчонок столько, сколько цветов на летних лугах Верховины!

— Девочка, — подняла младенца бабка, а по мне озноб пробежал. И рада дочке, и знаю, какая доля ее ждет... Родилась она слабенькая, а личиком чисто ангелочек! Ох, горе...

— Не мучайте себя! — утешала Пиковиха. — А что пригожая, так это чистая правда! Сердце от жалости зашлось, когда в гробик клала... — Кума заговорила тихо, сокрушенно, видно, прониклась горем матери, что родила на свет белый дитя и не успела ни порадоваться ему, ни понянчить...

Помолчала минуту и нашла еще один повод для утешения.

— Хоть бы мальчик... А девочка что? — Кума махнула рукой. — Это овечки да телочки в цене, а мы, бабы, задарма... Убивайся, пока вырастет, береги, чтоб какой непутевый до свадьбы не испортил, а замуж выйдет — новая забота! А Юлинке что? Улетела на небо, и имеете вы теперь своего ангела, будет кому за вас бога молить... А на земле только мучилась бы...

— Там, на небе, ангел, а здесь, на сердце, боль... —

убивалась Василина. — То, что родилось, должно жить... Недаром приходит в боли и муках.

Она так ясно видела и слышала все пережитое, уже давно, казалось, покрытое туманом... И, сколько ни прошло времени после горького того прощания, дети всегда приходили в воображение матери такими, какими покинули ее...

С клироса донеслось хриплое негромкое пение дьячка, а Василина так и стояла, охваченная тяжелой земной задумчивостью...

Вдосталь наговорились, наплакались, погоревали, подошел час и по хозяйству пойти: пора было на корову взглянуть, телочку подпустить к вымени.

Возле сарая постояли еще. У Пиковихи времени хватало, вот она и тратила его по всем деревенским дворам. А когда увидела телочку, разахалась: подумать только, всего-то пара дней от роду, а как мордочкой тычет, хвостиком крутит, ножками топает! Кабы человек так быстро на свои становился!

— Вот эта будет жить! Глядите, как сосет. А Юлинка совсем грудь не хотела брать... — Любовалась телочкой Василина, но мысль о младенце не покидала ее ни на минуту...

— Цыганочка! — вдруг окликнула Пиковиха.

— Выходит, кума, вы не только моих детей нарекли при крещении, но и ей имя дали! — Неожиданная кличка понравилась хозяйке.

— А сами скажите, чем не Цыганочка? — радовалась кума своей находке.

Но Василине было уже не до болтовни — стеснялась, как бы соседка не заметила промокшую на груди сорочку... И сказала смущаясь:

— Вот так и чувствую, когда время кормить...

— Ничего особенного! Не бывало еще такого, чтобы ребенок духом святым жил и сам по себе из пеленок вырастал...

Мать уже не слушала, чем и как оправдывает ее говорливая кума...

Встрепенулась, пора было вернуться из этого далекого путешествия, что уводило ее из церковки по земным дорогам к земному... Пыталась вслушаться в ско-

роговорку дьячка, даже повторила какие-то малопонятные слова — захотелось все же вырваться из давних дней...

Напрасная попытка!

Как только снова зачастил дьячок, она потеряла и смысл и лад и опять погрузилась в прежние мысли, в прежние воспоминания...

— Кума Пиковиха, говоришь, была? — шел за ужином обычный разговор, и Микола расспрашивал жену — не виделись они целый день.

— Ага! Раньше наших детей крестила, а теперь вот телочку...

— Как это? — удивился муж.

— А так, Цыганкой назвала!

— Ничего... — Подумал и усмехнулся. — Подходящее имя! — Помолчал минуту, отдыхая, очень уж выматывался на работе у Мигалицко. И добавил: — Вот и будет Пиковихина Цыганочка! — сказал и будто враз разрешил все сомнения: как дальше будет с телочкой? Вот, мол, пришла наконец правильная мысль, и все стало ясно...

— Отдать хочешь? — испугалась Василина, еще не понимая намерений мужа.

— А как же? Нужно... У добрых людей давний обычай...

И правда от дедов-прадедов было завещано: того человека, что держал голову умершего, когда клали в гроб, положено было отдарить головой живой... Чья уж она, неважно: телки, козы, овцы... Годилась и утка и курица, главное, чтобы множилось от нее все сущее... И потому никогда не дарили быка, барана или петуха...

Невольно прижала руки к груди. И ясно увидела, как бережно подкладывает Пиковиха ладонь под маленькую головку Юлинки, поднимает ее и укладывает в гробик, на белую простынку...

— Нужно отдать! — Ее тронуло, что Микола догадался сам, как отблагодарить куму за их младенца, который не задержался у материнской груди ей на гóре...

Помолчали. Видно, крепко подкосила их беда и все, что шло за ней... Верили, родившемуся надобно жить.

Первое время после добрых слов Миколы совсем было собралась соблюсти зарок, ведь кума сама может

вырастить телочку. Но, пока малышке надобна мать, пускай побудет с Ружаной...

Время бежало незаметно.

Цыганочка забавляла детвору, ластилась к каждому, тянулась мордочкой. Подросла, окрепла, сама уже траву начала щипать. По всему видать, хорошая будет корова!

Помнит Василина, что телочка обещанная и нужно отдать ее Пиковихе, пусть тешится кума, Юлинку поминает... Сразу после троицы и решилась отвести, да как выбежали дети во двор, как стали кричать и плакать! А Маричка, та просто на шее у Цыганки повисла, целует ее, приговаривает: «Никому не отдам, а кто заберет, сама из дома уйду!» Эх, не было Миколы дома, он бы вмиг управу на них нашел!

У матери и руки опустились, постояла у сарайчика, поглядела на плачущих ребятишек и оставила телку на прежнем месте. Даже Ружана благодарно замычала и принялась вылизывать дочку.

После все рассказала Миколе. Насупился муж, словечка не проронил. Побоялась расспрашивать, а вдруг и он подумал о другой голове — уже от Цыганки? Ведь все равно чья, была бы только... Ох, хитер человек, когда защищает добытое в поте лица своего!

И понимала же, держит чужое! Но Цыганка росла на славу, стала уже большой, и все, связанное с древним обычаем, мало-помалу гасло и покрывалось серым пеплом забвения...

Хоть, правду сказать, иногда приходил на память старый долг за Юлинку, да уж больно хороша выросла телка, и думать об этом просто не хотелось...

Зима в том году выдалась лютой.

Сначала морозец только прихватил поля, а потом набрал силу и сковал такой стужей, что все живое окостенело. Задули ледяные ветры, заискрилась изморозь. Ждали люди, может, выпадет снег и потеплеет немного. Но покамест лег он только на полонинах, зима будто остановилась на горных вершинах и посылала оттуда в долину свое леденящее дыхание.

На хозяйстве у Миколы ожидали прибавления.

Василина сокрушалась — по ночам в хлеве все выстывало. Старалась подстелить под Цыганку опилки, сухие листья, заготовленные с осени, — как родить телен-

ка в такой холод, малой тут же копытца откинет! Тешилась надеждой — не может вечно держаться сухой мороз, должен же отпустить...

Но не теплело.

Распаривала кипятком глину, замешивала с навозом и жестким, как проволока, белоусом, замазывала старательно каждую щелку, куда только мог пробраться злой верховинский ветер, — не выдуло бы сарай...

Спокойных ночей не было...

Откроет глаза, посмотрит на детей. Спят беззаботно, ничего не знают... Снится им, наверное, зеленый луг, прыгает по нему Цыганочка, солнце стоит высоко, и хватает ей телячьих забав и потех. Спит усталый Микола. Но проберется в глубокий сон тревога: как-то там корова?

Встанет с постели, пора уже огонь в печи разжечь. В хате выстудило, не протопишь — дети к утру замерзнут. Но раньше всего телогрейку на плечи и бегом в хлев: присмотреть за Цыганкой. То ли дело Ружана, никаких с ней забот не было, кабы всякая разумная корова так телилась! Когда принесла первого, никто и не видел, вошла утром хозяйка, а теленок — вот он, уже вылизанный стоит! Как-то теперь с Цыганкой будет, больно уж она раскормленная...

Постоит рядом, посмотрит... Дров захватит и тут же мигом обратно. Сложит тихонько на пол — не зашуметь бы, не разбудить — и давай в печи шуровать.

Раньше под треск огня опять засыпала сладко, не то теперь! Только зажмурит глаза и тут же подхватится — не дров подкинуть, а скорее в хлев наведаться...

Ночь нависла над селом черным, беззвездным небом, словно сдвинулись окрестные горы, плотно закрыли горизонт, и все вокруг погрузилось в густую, непроглядную темень.

Уже поняли, не может Цыганка отелиться сама. Напрасно хлопотал возле нее Микола, напрасно пытались выжидать, все было напрасным, только отчаяние нарастало все больше и больше... Еще надеялись обойтись без помощи Хомы Маркуса, великого знатока домашней живности, болезней ее и отелов... Но нет, пришлось-таки хозяину сломя голову бежать за спасителем.

Василине казалось, пришел исцелитель, чудодей! Застыла на пороге, сжав руки, не чувствуя пронизывающей стужи. А в углу притихла Ружана, смотрела большими умными глазами и словно тоже затаила дыхание.

В хате закричали, заплакали дети. Мать кинулась через двор.

— Что творите здесь, ироды? — Не вникая, с ходу судила и карала — не до того было...

— А я говорила, вы мне первой кулешика дадите, я всегда Цыганочку пасла, а Василю не давайте, он не хотел пасти... А он как стукнул, у меня и в глазах потемнело, чуть-чуть не умерла! — явно привирала Маричка.

— А вот я сейчас каждому дам! — прикрикнула и оглянулась в поисках какого-нибудь орудия, чтобы утихомирить озорников.

Глянула остановившимися глазами на гвоздик, где висел сыромятный ремешок Миколы, надежный помощник в деле воспитания, и в немой тоске без сил опустилась на скамью.

На крыльце, сбивая с ног снег, топтался кто-то чужой. И тут же распахнулась дверь.

— Подай теплой воды! — еле выговорил Микола.

Торопясь, сливала Хоме — с рук незадачливого спасителя стекала розовая пена.

И все же надеялась: хоть что-нибудь скажет, утешит, объяснит... Пусть словечком! Разве не бывало такого, что теленок погибал, а корова оставалась? Ведь Маркус все может, все умеет...

А он молчал. Почему? И молчал Микола, видя бледную как полотно жену.

— Больно уж раскормленная ваша корова... Кто ж знал? — наконец сокрушенно сказал Хома.

А мать ничего не понимала, но все уже знала...

— Помните Блышку? В летах уже была, а баба хоть куда... Подошло время рожать, а она никак... Ребенок на свет просится и ни туда ни сюда. Может, там, где ученые доктора с разными инструментами, она бы и справилась, а у нас где возьмешь такого мудреца, чтобы помог и спас? — Маркус будто сам с собой разговаривал.

И Василина вспомнила ту зиму, когда полная женщина не первой молодости погибла вместе с ребенком. В селе все знают и все помнят...

— Так Блышка смолоду детей не хотела. Спохватилась, когда года на осень пошли... А Цыганочка-то наша в самый раз... — убивался Микола.

— Жира много! Все равно что у бабы, что у коровы! Одна природа! — Хома для убедительности даже голос повысил — удивлялся, что с ним не согласны. В конце концов, он в этом деле знаток, не одно животное спас. А тут вот не смог... Теперь и к нему пришло понимание бессмысленной потери и великого убытка, что выпали на долю этой семьи... Как бы радовались они, пройди все благополучно. — Подумать только, какая беда! Прямо голова разламывается... — Маркус потянулся за рушником — работы еще хватало.

Вжик-вжик! Вжик-вжик. Взблескивал длинный нож, нужно было наточить его для разделки туши.

— Хорошо хоть мясо не пропало, люди возьмут... Да и себе останется. А могло падалью стать... — бурчал под нос.

А мать стояла ни жива ни мертва...

— Это, Василина, ушло за долг... Нельзя скупиться в таком деле... Грешно! — рассуждал Маркус, закончив работу. Видно, не выдержал Микола, рассказал ему о Цыганке, что была обещана куме.

...Тын, стог сена, сухие стебли кукурузы, орех в конце усадьбы, лесок на склонах, черешни на холме — на все медленно опускалась пелена черного инея... Никогда Василина не видела такого, но вот оно воочию перед ней — вся околица словно ослепла... Вглядывалась, хотела понять, что же произошло, и убеждалась, все укрыло непроглядное марево, и оно, чернее черного, вот-вот поглотит и ее...

И в ужасе попятилась в хату...

«ПАКИ, ПАКИ...»

— Паки, паки господу помолимся! — дребезжал слабый голосок отца Никодима и терялся под сводами куполка.

Призывный возглас этот вывел ее наконец из тьмы той давней ночи, что обернулась утром таким страшным видением...

«Паки, паки, поползли, как раки, дьяки за попами, а мы остались сами!» Увидела вдруг своего Василька. Прицепил, озорник, жестянку на проволоку, насыпал

туда углей — чем не кадило! — и давай «служить» перед ребятишками.

«Отступи от меня, от грешницы, лукавый!» — даже осенила себя крестным знамением, прогоняя нечестивые мысли, а всемогущее воображение по-прежнему уводило в минувшее... И молитва, пропахшая ладаном, не уносила в небесную высь, в сказочное царство ангелов и святых, а также упорно возвращала ее к матери-земле, к каждодневным заботам, к привычному труду, без которого не представила бы ни единого из прожитых дней...

— А скажите мне, Федор, что это значит — паки, паки? — спросила однажды соседа, с которым вместе возвращались домой после церковной службы. Застряли в памяти непонятные слова, смущали, вот и хотела узнать о них у человека, хорошо разбирающегося в молитвенных тонкостях.

— Как бы вам сказать... — Федор, церковный староста, не спешил с ответом, хотя смысл загадочных для Василины слов понимал. Так разъяснить премудрость казалось ему значительнее...

Она терпеливо ждала объяснения, скользя по раскисшей от осенних дождей улочке.

— «Паки, паки», соседка, значит, вроде человек просит еще... Ну, мало у него чего-то, вот он и просит... А если по науке сказать, точно, так означает это «еще и еще»... Поняли?

Ответ был исчерпывающий, ясный, в точности его Василина не сомневалась, а потому больше и не расспрашивала.

Паки, паки... Покачала головой в такт не словам отца Никодима, а собственным мыслям. Вспомнилось, как сидела она у себя в хате на старой, вытертой до глянца доске за ткацким станком... Бежит нить за нитью, дума за думой в бесконечном движении, и не видать ему конца-края... Еще немного, еще, дойти бы только до кончика, а там можно и передохнуть...

Заглядится на ровные, натянутые, как струны, нити и подумает невольно: вот так и жизнь наша... Час за часом, день за днем, весна в лето, осень в студеную зиму... И все имеет свое начало и свой конец. Вот только

шла бы дорога жизни по огромной земле в здоровье и радости до последнего часа...

О многом передумает, многое кажется схожим с ткацкой ее работой...

И паки, паки возглашает ей не причт, а все те же воспоминания: спешат нити-думы, ткется безостановочно полотно долгой жизни...

Распалась республика Бенеша.

Опустела казарма от тех жандармов, что говорили по-чешски, хоть и служили в селе по многу лет. А какой-нибудь верховинский парень побудет в чешской армии год-два, вернется домой и коверкает уже родной язык «по-пански». Кто по-ихнему старается, тот, мол, и пан...

Странно все же, если наш мужик с полонины, от овец и коров, смог так быстро заговорить по-чужому, отчего бы пану жандарму за десять лет жизни на Верховине не обучиться по-нашему? А ведь не хочет, незачем ему это, пусть под него подлаживаются, хозяин-то здесь он! Таков закон издавна!

Перебрала это в памяти, и сразу пришли новые вопросы.

Ну, значит, сняли с казенных зданий прежние вывески, чешские жандармы из села прочь, венгерские на смену им в село! Казарма та же — хозяева другие. У этих шляпы-котелки украшены черными петушиными перьями — из хвостов, что ли, надергали? И, когда вышагивают по улицам, выставив штыки длинных ружей, перья эти будто серпами жнут воздух... А сами сердитые, видать, нужно так... В жизни ни с кем не здороваются, даром что они к нам пришли, не мы к ним... Положено у начальства, чтоб им первым здоровья желали...

И то сказать, на Верховине никто из простых крестьян не ломает перед ними шапки, не торопится пожелать доброго утра или вечера...

Староста в селе тоже не тот, что при чешских панах был. У нового вся грудь в орденах — за верность цезарю и отвагу на поле боя. Берегли и прятали все это далеко отсюда, когда в Карпатах и духа не осталось от австрийских вояк... А как воцарились здесь хозяева из Будапешта, так сразу возник старый служака со всеми своими регалиями и сел на освободившееся место... Помнят, где нужно, прежние заслуги, умеют отблагодарить за собачью верность!

Паки, паки — бегут нити, а с ними и мысли. Хочется понять простые истины, глубже постичь мир...

«Вывески на лавках и корчмах сменили, и всюду на них уже другое написано. Вся власть тоже другая — и начальство и жандармы, а набралось их вроде побольше, чем было... Лавочники и корчмари, правда, старые, так ведь и водка не переменилась... Ломают теперь торгаши язык, по-венгерски лопочут, только кто из новых панов порог переступит, такое несет, уши вянут! Вот какая сила у власти», — вздыхает Василина, постигая удивительную закономерность государственных установлений.

«Ох и злодейский порядок настал! И весь мир злодейский! При чехах лавочник Адлер отпускал в долг, а потом экзекуторов присылал. А сейчас соли и той не даст! Говорит: зачем мне лишние хлопоты, нет у тебя денег, заработай! Пожалуйста, бери нитки — соткешь полотно, им и отдашь! Какие уж тут заработки, с ними в мадьярском королевстве еще хуже стало, чем при Бенеше... Денег не видишь, хозяин сам товар дает за сделанное. А не хочешь, к Адлеру Визелу другой найдется...»

И чтобы в доме было хоть самое малое, нужно трудиться ткацкому станку паки, паки...

Эх, был бы лавочник человеком, не драл бы с бедного семь шкур... Расстаралась бы она тогда соткать полотна, продала бы добрым людям, да и за работу получила что следует...

Так под пение причта вспомнилось все, что довелось пережить при некоронованном короле — регенте Хорти, какие обиды терпеть от хитроумного Адлера за свой тяжкий труд... И здесь, в заброшенной церковке, возвращаясь в прошлое, поняла, как много передумала, перечувствовала в те времена горькой неволи, как билась ради мизерного заработка... И только в праздники, оставаясь наедине с собой, постигала жизнь и окружающий мир — в будни за хлопотами и заботами времени на это не оставалось...

Глаза ее излучали ласковый свет, давнишняя горькая озабоченность ушла из них, будто и не было ее вовсе... И вздохнула с облегчением: наконец-то навсегда скинула ту непосильную ношу, что когда-то пригибала к земле...

И хотя стояла посреди ветхого, увешанного иконами храма, казалось, оглядывает свою до голубизны побе-

ленную хату; висит там во всю стену ковер и словно рассказывает ей добрую сказку о долгой дождливой осени, первой после свадьбы с Миколой... Именно тогда за ткацким станком пришла к Василине радостная уверенность в себе. Щедро одарила ее работа чувством красоты творчества, чувством, что красота эта в ней... Может, в этом и таится бессмертие?

Празднично становится на душе, как вынет из краски мотки шерсти и развесит сушить все цвета радуги... С этого начиналось преддверие чуда, приобщение к таинству — счастье любимой работы...

Думала о верной, чистой любви к своему Миколе и вплетала красные шерстяные нити, перемежая их с белыми. А поскольку в жизни хватало грусти и страданий, добавляла к узору и черные... И на зеленые не скупилась — отражалась в них родная Верховина, все ее полонины, леса и щедрые травы, где так привольно пасся скот. Каким разноцветным виделся ей окрестный мир! Радость творчества побеждала все тяготы, и невозможно было представить без нее жизнь!

Много прошло дней, пока закончила свой первый ковер. А когда сняла его со станка, почувствовала и удовлетворение, и внезапную пустоту... Стало грустно, что разгадала все секреты ковровых узоров, что дорога закончилась, что вершина достигнута... Что же будет теперь? И захотелось продолжить праздник своего труда, насладиться красотой и стать от этого богаче... Расстелила ковер во всю ширину, заиграли, переплетаясь, краски, рассказали всем о щедром даре мастерицы... И грусть исчезла, растаяла...

Казалось, минул век с того времени, как соткала Василина этот ковер, состарился он, выцвел, поблекла яркая шерсть, стала не такой, как была, когда ворожила мать над его семицветной радугой. А ей по-прежнему виделся он таким, как в тот праздничный день, когда сняла свое творение со станка...

И опять ощущала в себе ту давнюю окрыляющую силу...

Паки, паки...

Равнодушно помахивал кадилом хилый отец Никодим, кланялся изредка алтарным иконам. Глянула на него виновато, нехорошо все же так: попик с дьячком молятся, а она мысленно блуждает по грешной зем-

ле — то в далеком прошлом, то в сегодняшних днях...

Попыталась сосредоточиться... Но благого желания хватило ненадолго, а там опять обступило ее все привычное, земное, да и духовный отец со своим кадилом уже скрылся в алтаре. И потекли мысли по старому руслу, вечно близкому, живому и волнующему. Снова привиделся ткацкий станок и бесконечный труд на нем, хоть давно пора дать отдых изработавшимся рукам. Да и как забудешь о нем, когда держит на хозяйстве овец и хочется самой создавать из теплой шерсти такую красоту, которая останется на долгую память всем детям, внукам и правнукам...

А больше всего заботилась о младшей, Анне... Может, потому, что была она далеко от родного села и жила среди совсем непохожих людей — не умели они ни прясть овечью шерсть, ни красить ее, ни ткать... Вот и мечтала сделать для ученой дочки самый богатый ковер — пусть там, в долине, расскажет не только об умении мастерицы, но и о том горном крае, где выросла Анна, о всей прекрасной, цветущей Верховине... И потому должен он быть самым лучшим...

Сколько досады и беспокойства причинила ей валяльня! Подумаешь, какая забота, скажет несведущий, тем более что в прошлом и вправду забот не знали... Но всему приходит свое время...

Итак, ковер для Анны, весь в чудо-узорах, был готов. Мать вынесла на чердак станок и задумалась о валяльне. Дело это такое: не сделаешь — валять нечего, а сделаешь — без нее не обойдешься. А валяльни в селе нет, потому и пришлось сложить в угол готовый, но до толка не доведенный ковер... Так и выглядывал оттуда укоризненно, пока однажды не выдержала, взвалила его на плечи и зашагала в соседнее село. Там, за перевалом, начальство было внимательнее к освященным временем традициям и устроило валяльню при колхозной водяной мельнице. Изрядный доход давала: деньги несли не только люди, несла их сама труженица вода. Обычная, текущая с горных склонов вода!

Конечно, можно было поручить это дело Марии — дочери легче сходить через перевал, но у нее своя работа, свои заботы...

Чуть живая, добралась пешком, напрямик — так,

казалось, ближе, да и рубль за автобус сберегла. Но на том не кончилось, пришлось еще дважды ходить, пока ковер вывалялся как нужно, а в ее годы нелегко шагать по таким тропам, ноги словно чугунные делаются...

Рассказала про свои злоключения сыну Василю, когда ездил он в командировку и выбрал денек, чтобы проведать родителей.

Выслушал ее сетования и вспомнил, ведь и у них когда-то стояла возле старой мельницы валяльня, трудилась на пользу всему селу. И хозяин имел хороший барыш не только от помола кукурузы. Он пустил воду через лоток в бочку с проделанными щелями, так она не переполнялась и струйки вращали ткань, сколько ей надобно.

— А вы, мама, написали бы, что спокон века была в селе валяльня, а сейчас вот нет! Нехорошо ведь...

— И право, стыд один! Когда после войны без нее маялись, так время какое было! Не ткали, не красили, латали больше, чем покупали... А теперь достаток, все у людей есть, вот и взялись опять за ткачество, за красу нашу.. А что писать-то, сынок? Небось головы помудрее моей есть?

— Может, и есть, да такой, как ваша, нет и рук таких золотых не найдешь! А если ждать кого, вечно будут женщины носить свою работу через перевал, к соседям...

— И я так думаю, а вот кому послать?

— Да хоть бы в газету!

— Ох, какой из меня писака? Чтобы туда посылать, нужно знать, как да кому... Еще высмеют на старости лет...

— Почему? Одни дураки могут смеяться над письмами простых людей, сами-то они ничего не знают... Только уж не в газете такой найдется...

— Ладно! Твоя правда, сынок! Писать так писать... — согласилась и обрадовалась: ощутила вдруг свою причастность к делам, касающимся многих, не только ее одной...

Василь не знал, как поступить: пожалуй, лучше самому написать и дать матери подписаться, так проще и до Ужгорода дойдет быстрее.

Василина ждала, она готова была ради женщин Ду-

бового вышивать эти непривычные строки по белому полю.

— Будем... Нет, будете писать... — поправил себя и вынул из портфеля лист бумаги. Кивнул матери, чтобы начинала: — «Уважаемый товарищ редактор!» — и все же задумался. Как будет лучше? Обычными ли словами, как пишут пожилые, не искушенные в этих делах люди, или более хитроумно, по-ученому, пускай там видят, что есть на селе и такие, знающие толк в корреспонденциях, в постановке вопросов и проблем...

Непривычно было видеть, как решительно держит ручку его мать, словно собралась начать и без его помощи.

— Как думаете, так и пишите...

— Нужно про валяльню... — Она твердо знала, что хотела изложить в письме, и сразу принялась за дело. Рука ее неспешно, аккуратно стала нанизывать букву за буквой, строку за строкой...

А сын помалкивал и думал: сумеет ли толком рассказать о горькой судьбе злосчастной дубовской валяльни?

Но рассказала она все как нужно... Толково, умно сообщала редактору областной газеты, что была, мол, когда-то в их районе валяльня, необходимая, полезная, все ковры прошли через нее... А вот нынче из-за бесхозяйственности сельского начальства нету у ткачих Дубового такой нужной и простой вещи... И воз ни с места, и подтолкнуть некому! А в конце просила редакцию оказать помощь не ей одной, а всем женщинам села.

Василь, пробегая глазами строки письма, диву давался, так по-деловому, коротко и ясно мать изложила суть дела. И подумал, что видит ее сейчас совсем по-новому...

— Так и пошлем, ничего добавлять не нужно! — И протянул ей лист, чтобы подписала. Отправить его взялся сам.

Письмо матери напечатали. Глазам не поверила, когда увидала свое имя, набранное типографским шрифтом. Это было откровением, пробуждало необычные чувства... Но совершенным чудом было появление сельского почтальона с деньгами от редакции — ее первый

и последний гонорар! Решила сначала, может, ошиблись? И положила на всякий случай в толстую книжку: если понадобится отдавать, пусть будут под руками. Жаль, не расспросила сына, и он сам не сказал, что может получиться такая неожиданность...

А тут еще прислали за ней из сельсовета.

Молодой председатель, что годился ей в сыновья, раздраженно глянул на вошедшую и тут же уставился в газетный лист. Мать сразу узнала свое письмо.

А глава сельсовета, неразборчиво хмыкнув, углубился в чтение все тех же нескольких строк.

«Скажет наконец, по какой причине позвал, вроде не шутки шутить?»

— Вам, что ли, бабушка, валяльня еще нужна? — спросил, не скрывая злости, и даже газетой взмахнул.

— Я, сынок, может, и так дожила бы свой век... — ответила спокойно.

— А кому она тогда нужна? — И сердито ткнул пальцем в злополучное письмо.

— Если вы насчет этого, то писала я...

— И чего, спрашивается, крутите-вертите? Вы пишете, а нам отписываться...

— Крутить мне незачем, я всю жизнь прямиком хожу! А, в конце концов, валяльня и мне нужна, раз уж задержалась на этом свете... Вот только не гадала, что призовут к тебе, такому молодому, на исповедь... Думала, сами за ум возьметесь и сделаете нужную для села вещь! Зачем воде даром течь, лучше пусть дело делает и доход приносит...

— Без вас знаем, что селу нужно! — взорвался председатель. Бывает, подведет человека амбиция, когда уверенность в себе велика, а жизненный опыт мал. — Лучше сядьте и пишите! — распорядился начальственно и пододвинул листок бумаги. Сшиб по пути ручку, оиа покатилась по столу...

— А что писать-то?

— Так, как есть: что в сельсовете с вами говорили, что вы все осознали и никаких претензий больше к нам не имеете. И точка!

— Видать, шутить собрался? Не обессудь, правду скажу: когда ты еще по хате ползал да за мамин подол держался, я уже не в одну печь хлеб сажала... — Слова эти вырвались неожиданно для самой себя, не толь-

ко для него. — А селу валяльня необходима, хватит ходить со своим по чужим людям. И знать это тебе полагается лучше, чем редактору, и заботиться об этом тебе, молодому, нужно, а не мне, старухе! Даром, что ли, люди за тебя свой голос отдали? Теперь ты для них постарайся!

И замолчала.

Председателя охватило какое-то странное чувство, он не мог и представить, что эта неприметная старая женщина так его отчитает! Думал, стоит повысить тон, отругать за вздорную ее мороку, и она стушуется. Да и в газету написать наверняка подговорил какой-нибудь склочник, а она поддалась... «Но откуда такая решительность, такая уверенность? Да разве раньше осмелилась бы?» И вдруг пришло к нему понимание, в чем заключалась теперешняя сила женщины, великая ее правота и справедливость убежденности... И никакой не было нужды подсказывать ей, как писать...

Василина встала. Чистый лист бумаги по-прежнему лежал на столе. Председатель впервые поднял на нее глаза.

— Знаете... Мы подумаем...

«Мы подумаем...» — будто въяве услыхала голос молодого, не умудренного жизнью начальства.

«А валяльню таки поставили! Хороша баба! Одна все устроила!» — и улыбнулась приятному воспоминанию... Но все же не нужно забывать: хоть в этих стенах можно отрешиться от всего, уйти в свои думы, в мир земных, хоженых дорог, но и благочестие следует сохранить...

Дьячок гасил свечи, их зажгли по одной на каждое имя, что значилось в списке «за здравие». Василина оглянулась на бревенчатые стены — уже давно не пахли они смолой, а дышали промозглой ветхостью. И все же угадала в срубе сосновые стволы, и сразу почудился ей не дымок догоревших свечей, а аромат промытого майскими дождями зеленого леса — стеной стоит он у Великой Горной Тропы, по которой столько водила ее долгая жизнь, поведет не раз еще и теперь на Ясеневую...

Защемило сердце. Ощутила она всю полноту обратимости жизни, когда не представишь себе тех, кто радуется сейчас приходу весны, без тех, кто никогда уже

не увидит белого инея цветущих черешен... Не могут существовать они друг без друга не только в памяти людей, но и в вечности...

Мысли на минуту вызвали в памяти их сельский погост с покосившимися крестами, с черными елями, застывшими на страже. И полетели вдаль, к родному селу, к его улочкам, к реке Тересве, где мост и новостройки, что и вправду схожи с городскими... И отчего-то подумала: все на свете течет, все меняется...

Не меняются только Дубовое, Тересва, синие дали и лазоревый небосвод над ними, могучие горы, что царят окрест, и красавица Ясеневая...

Не меняются извечные дороги земли, ибо схожи они с живой кровеносной системой самого человека...

Не меняется добро, которое ты оставляешь людям, как, наверное, не меняется и зло... И в каких бы краях ты ни жил, где бы ни суждено было сложить свои кости, если ты родом отсюда, значит, во веки веков останешься тут. Оттого, что спят здесь вечным сном твои деды и прадеды, а ты частичка их... И, покинув этот мир, тоже оставишь после себя живое...

Просто как будто жила — дня без работы не знала... И не только той, что украшала землю цветущей пашней, но и дарила ей саму жизнь.

Верной женой была, была матерью. Высокое счастье материнства озарило ее своим светом. И была она вся в детях...

Нажила ли богатства? Что оставит вечности после себя? Только честных, работящих и добрых людей. Разве этого мало? Разве не таким было ее призвание, ее судьба на трудной горной земле, где в поте лица своего добывался хлеб насущный...

Под вечер следующего дня подошла к усадьбе, к старому ореху. Выжило могучее дерево, пустило молодые побеги — природа не дала ему погибнуть, видно, таились еще в стволе животворные соки.

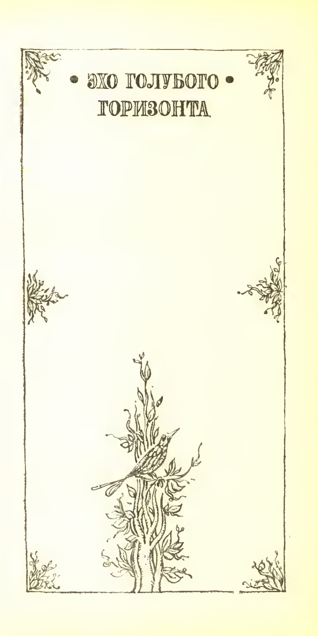
Опять подумала о дочери. И еще раз порадовалась новой судьбе своих детей, своего края и своей собственной. И не мечтала о такой, когда родила Аничку, глядя на ребенка, не могла остановить слезы: зачем он,

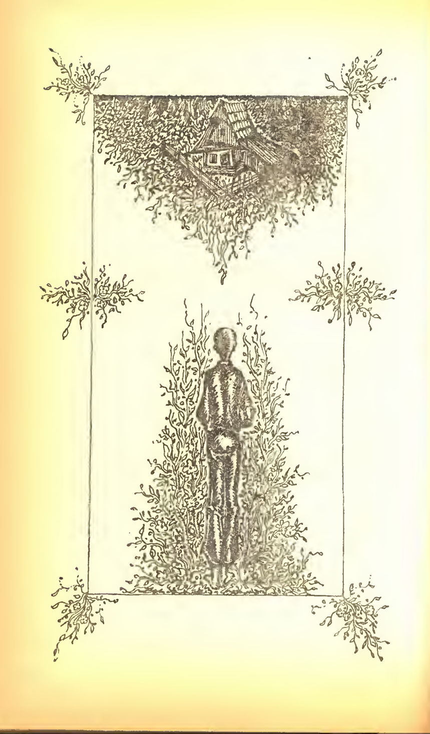
бедный, пришел на свет, если так в нем тяжко простому человеку?

Теперь все могло быть иным... Нашлось бы и ей дело... Но она захотела пройти еще раз, хотя бы мысленно, по тем давно пройденным дорогам... И ушла из дому, чтобы остаться наедине с собой... Со своими мечтами...

С материнскими думами...

• ЭХО ГОЛУБОГО • ГОРИЗОНТА





Слышу эхо далекого синего края небес как мамину сказку детских моих годов.

Слышу его как песню предвесеннего ветра с полонин, как гулы высоких елей, колышущихся на чистой глубокой сини. Тревожной волной докатывается оно до меня и, отраженное сердцем, встает слепящим видением солнца, ясным, ярким днем бытия.

Я вслушиваюсь, я слышу эхо далекого синего края небес...

КОЛЫБЕЛЬ

Яблоки в нашем саду уже доспевали. Мы с отцом ладили сушилку. Уж и не помню, в пятьдесят каком году это было — втором, третьем или четвером...

Под зеленым холмочком с кустами орешины и высоким, стройным ясенком лежала грудка нехитрого нашего материала для нехитрых сельских построек — кирпича, камней, глины. Раствор разводили мы в дощатом корыте — в таких женщины стирают белье. Как-то не попадалось мне прежде на глаза это корыто. Вот и подумал, что, наверно, держала в нем мама на чердаке нашей старой хаты клубочки пряжи, связки льна или пакли; а может, просто сберегался в нем всякий-разный ненужный хлам, что обычно закидывают на чердак — вдруг да сгодится.

— Это что за корыто, татку?

— То не корыто, сынок. То — люлька.

— Люлька? Чья?

— В ней мать тебя качала.

«Наша люлька?» — удивился я, и как-то мне не по себе стало, что старая наша колыбель в таком небрежении оказалась — вся в глине.

«Так вот она какая!.. Это в ней, значит, лежали мы вдвоем с близняткой братом?» — думал я, все ближе,

все внимательнее вглядываясь в заляпанное глиною корыто. И будто услышал я скрип вбитых в балку кованых крюков, услышал детский плач и грустную мамину песню — мою и брата колыбельную. Странно мне както стало. Потому что смотрел я на люльку и видел не ту, которую все в хате знали... потому что в родном гнезде была другая колыбель.

Сработанная столяром, она висела у самой печи, над дощатой кроватью. В ней все меньшие братья и сестры баюкались, в нее мальчонкой и я залазил, и сдавалось мне тогда, что вот эта самая люлька и была той, в которую нас мама положила, когда мы с братом Петром явились на белый свет.

Исподволь клался кирпич к кирпичу, исподволь истаивал раствор из корыта, а детская дума моя обращалась к картинам той жизни, о которой поведывала нам добрая и нежная наша мама.

ПЕТР И ИВАН

Батько наш был далеко, на заработках. А она дома, одна-одинешенька. Ни доктора, ни повитухи, ни хоть какой-нибудь помощницы рядом... Одна была со своими болями, с великим терпением, с надеждой и верой в жизнь. Молодая, умная, сильная — вот и управилась одна со всем: и спеленала нас, и положила в кровать с собою.

Брат явился на свет получасом раньше меня. Потому в нашей семье он и считается старшим. А вот отчего он Петром наречен, а я — Иваном? Тут не без хитрости обошлось... вместе с наивностью и непосредственностью. Имена нам мама давала. Когда выходила замуж, дед Петро — будущий свекор ее — не хотел, чтоб его сын Михайло на вдове женился. Как овдовела мама — про это после. Вот потому-то, лишь только народился сын, и назвала его тут же Петром. В честь деда. Правда, не смягчилось к маме дедово сердце, так за всю жизнь и не помирился с ней. Хоть и наперекор проказливой, лукавой доле кончался у мамы моей на руках. А мне имя Иван досталось. Самое вроде бы наиобычное, самое простое и распространенное. У нас, на Верховине, в Карпатах, есть имена излюбленные, а есть — так себе. Есть и вовсе неизвестные, даже непринятые.

Среди женщин самым первым идет Мария. Дальше

Василина да Анна. Олена. Среди мужских — Василь, Петро, Михайло. Так себе имена — Авдотья да Параска, Юлина да Гафия, Дмитро да Яков, Семен, Гаврило... А вовсе неизвестные — Акулина да Анфиса, Проскудия да Таисия, Полиевкт да Митродор, Мокий да Фортунат. Так с давних давен — законы тут не писаны. А что сдается мне: мне сдается — все имена прекрасны, лишь бы человек хорош. Но что ни говори, как ни пиши, досталось мне распространеннейшее по зеленой Верховине имя. И на великом белом свете стало с моим приходом одним Иваном больше.

Окрестили нас с братом не в родном Дубовом, а в Вильхивцах, в долине той же Тересвы, где лежит и родное наше село. В тот год, когда мы родились, не было еще в нем православного священника. Как раз тогда все Закарпатье двинулось из унии в православие, и попов не хватало. Так-то отправились мы с братом и крестными матерями в первое наше путешествие за лазоревые дали родного села.

МАМА

О, наша добрая и нежная, наша великая и святая в чистоте и безграничной доброте своей Мама!

Вижу ее с глубоко посаженными синими очами, с нещедрой усмешкой на красивых устах, с печалью и раздумьем на челе. Всю жизнь — от девичества и до замужества — билась она с нуждой да невзгодой. Натерпелась и набедовалась! Верно, потому и выучилась довольствоваться крохами, из малости сотворить побольше, а из большого — громадное. Верно, потому и не скудела сердцем, не изверивалась, была тверда в надежде на лучший день. Всегда тянулась она к прекрасному, всегда рвалась к великой красоте. Она, мама наша, воплощение неутоленной жажды; она — неспетая песня, полет, не изведавший синей небесной отрады.

Родилась она в семье Федора Головчука в Дубовом. Семья эта в селе была зажиточная и гордая мудрым да работящим своим хозяином, человеком ума большого, хоть и не выучившимся за жизнь грамоте.

Маму мою зовут Василиной. Потому и сдается мне это имя самым лиричным и самым нежным из всех имен. Детские годы ее пришлись на начало нашего века,

девичество — на годы первой мировой войны. Трудно тогда было по Верховине — нужда, голод, а в многодетной семье выдалась мама старшей. На долю старшей обычно больше всех приходится. Надо было помогать деду нянчить малышню. Семья порой бедовала без хлеба. Ездила для заработков на жниво по мадьярской низине. Не раз вспоминала она то широченное, без меж, без края, поле. Пшеница, пшеница, пшеница клонится дородным колосом, воздух звенит чудесным звоном лета. А она со жницами в ряду, что мережка чаек на волнах неоглядного золотого моря.

Говорила мама про пшеницу, про это поле и будто сказку сказывала. Верно, жила в том рассказе мечта о собственной ниве, крестьянская боль по земле. Затем, что ни широких нив, ни пшеничных полей видеть ей в родном селе не приходилось. Узкие крестьянские полоски, раскромсанные межами участки шумят мне кукурузным стеблем, цветут белыми заплаточками льна. Все тут обработано со тщанием, рачительно — знают взаправдашнюю цену земле! Родные дали — бедна на пахотные угодья Верховина.

В маминых рассказах про засеянную озимью долину и теперь я чую неутоленную тоску по щедрому добру, по красоте.

Сватались к ней там, в тех краях, где зарабатывала хлеб — жала, вязала снопы. Но не хотела она на чужбину, не могла без Верховины. Знала хорошо, что сытье здесь, по долине, житье, что люди побогаче. Но ни за что на свете не могла сменять она верховинских далей. Потому и возвращалась с заработком в горы, под верховинское небо с его ночной густою синевой, падающими августовскими звездами, зачарованным шумом еловых лесов, ветров с полонин да зимним инеем.

Работящая, скромная, красивая — косу, бывало, распустит, и, словно на диво, шли на нее любоваться — многие сватались к ней в родном селе Дубовом.

Вышла за Миколу Савулу и доныне вспоминает его с любовью. Ласковый был, мягкий, добрый. К будущему тестю никогда с пустыми руками не придет — табачку деду притащит. Видно, по этой причине дед с невестой и порешили, что будет Савула мужем щедрым и тароватым, вот и приняли его в свою семью.

Короткое это было замужество. Савулу забрали в армию, после того — на войну. Родила мама дочку Василину, когда муж был на фронте, австро-венгерским солдатом. Так и не повидал он ребенка— сгинул на севере Италии при форсировании Пиавы.

Долго хранилась фотокарточка первого маминого мужа в нашем доме. Снят он был во весь рост, в мундире фронтовика, левая рука на поясе — так обычно фотографируются люди, впервые оказавшиеся перед аппаратом, не знающие, куда подевать им руки.

В заботах о малых детях, что щедро выпали на долю мамы, было ей, видно, не до бумажной памяти о первом муже. Так и заиграли мы эту карточку в клочки. Ну да мама первого своего Миколу сердцем помнила.

Как овдовела и стала одна-одинешенька, заухаживали за нею снова, засылали сватов. Выбрала она себе среди многих статного, ладного парня.

Будущий мамин свекор никак не хотел этой женитьбы. Издавна бытует у нас такая думка, что не стать вдове послушной, податливой женой да рачительной хозяйкой, тем более, когда по второму разу за парубка идет. В такой семье, как говорится, жена за казака. Отговаривал дед Петро сына от женитьбы, да ничего не вышло — не отговорил. Так-таки и не явился старый на двор к деду Федору. И отгуляли-отпировали свадьбу без того, чтобы свахи со сватами вместе покрасовались в танце, чтобы вместе повеселились сыновья да дочки двух семей.

Не знаю, чем это мама отца к себе приворожила? Сам он, когда мы уже повырастали, не раз, бывало, шутил, что заманила она его на диво ровными да белыми своими зубами, чудной улыбкой. Зубы у мамы и вправду были белые-белые, будто из фарфора выточенные. Только мало мне помнится, чтобы мама смеялась. Да и она, верно, легко бы могла сосчитать эти редкие за всю жизнь минуты беззаботного смеха и радости.

Вся в вечных хлопотах и тревогах, великая труженица и страдалица наша. Только той радости и было у нее, что в детях, да еще, может, в маленьких удачах по хозяйству. Как непритворно радовалась она, когда вылуплялись и пищали в хате цыплята — всем нам строго-настрого заказывалось тогда бегать по дому, чтоб часом не раздавить какого. Как по-хозяйски гордилась она, когда, бывало, замычит в хлеву телок и корова

даст полные доенки молока, когда ягнята, мекая, бегут за нею по лужку. Как расцветала она и молодела, когда посеянное ею в поле прорастало и зеленело, цвело и наливалось урожаем. Даром, что невелико было родное поле, а работы на нем — в поте лица. Да разве думалось ей, разве гадалось, что работа на земле может и легкой быть, и тяжелой? Только одно и знала мама: честная работа — работа тяжкая. И с нами, детьми, хлопот, старанья да забот всегда по горло. Чем покормить чуть свет, как в школу проводить, что дать к обеду да чем наполнить миски к ужину?

Во что обуть, одеть и как принарядить девчонок, чтоб не хуже были, чем у других? Как залатать да пошить, напрясть да выткать? Как помирить поссорившихся, утешить, приласкать обиженных — ой, да разве перескажешь все заботы ее и все дела?

Какой мастерицей могла бы стать она — ковровщицею, вышивальщицей. Вот уже сколько десятков лет минуло, а до сих пор цветет ее ковер той красотой, изумляя тем вкусом и чутьем в подборе красок, которому не выучишься — с ним, как говорят, родиться надо. И такой таинственной гармонией дышали вышивки ее — только таланту дано постичь такое.

Не глядя на большую свою семью — семерых дочек родила мама да пятерых сынов, — она еще и о замужних и незамужних сестрах утруждалась, о женатых и неженатых братьях.

К ней приходили за подмогой, и она сама, чуть какая беда, шла к ним. Вот в этом и заключалась сила ее, и щедрость, и величие, что никогда она не оставалась равнодушной, что не только о своих болела — всех ей было жалко, всем была готова помочь чем можно.

Неспешная в суждениях, спокойная, раздумчивая, всегда умела она не только говорить, но и слушать, выказывая этим терпеливость, сдержанность. И скрытое от всех душевное волнение откладывало на лице ее печать большой и тяжко добытой мудрости.

Радовалась веснам и счастлива была приходам благодатной, щедрой осени. И хоть небогато хлеба родило поле, хоть и картошки собиралось считанные мешки, хоть и овса да ячменя немного — была спокойна. Как-никак, а свой хлебец — подмога к заработанному, да и повкусней он, посытней!

Только с каждым разом, как несла она на мельницу зерно из дома, все прибывало в ней тревоги.

Видела, как постепенно таял ее припас, а до новины еще как далеко было. Вот потому-то и ходила она, уже и жинкой, и детной матерью, на заработки. В крутые да голодные годы, случалось, кидала детей одних, почти что без пригляду — хотела с хлебом воротиться, с деньгами. Ту горькую и тяжелую для нас годину никто из братьев моих, никто из сестер забыть не может. Раз, было, надорвалась бедняга, едва не померла... Чудом только выходили лекари в Солотвинской больнице. Кабы проникнуть сейчас в мир беспокойных дум ее — там, на больничной койке, в ночную бессонницу, вдали от дома, от детей... Сколько ж было в нем, в этом тревожном мире, любви и доброты, боли и горючих слез...

Как не думать о ней?

Как не любить ее?

Когда не знала она никакой корысти, когда жила для всех, когда ни разу в жизни никого не повинила, ни на чьи плечи из ноши своей ни класть, ни перекладывать не думала.

Образ ее всегда передо мной. Как святость, как высокое достоинство, как любовь, которую нам лишь единожды дано изведать — для собственного обогащения и для раздумья. Того раздумья, в котором все есть — все, кроме покоя.

ГЛАЗА, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОРБЬЮ

Ему, нашему отцу, за семьдесят.

Статный, с характерной тяжеловатой поступью горянина. Всеми корнями своими врос он в землю. Верил свято, что только одна она кормит и поит селянина, что от нее одной вся радость его и счастье и что на большом свете тот только и господин, кому курчавится она, и прорастает колосом, и зреет урожаем.

Никогда не поступался он своей любовью к правде. Ни разу не покривил душою. Оттого-то и приходилось часом батьке нашему ой как тяжело, как туго.

Голодная зима, после тридцатого не помню такого года, гнала селян к панам за помощью. Стали тогда возить в наше горное село хлеб, чтобы накормить голодных. Сколько ж надо было каждодневно выстоять на станции узкоколейки, чтобы добыть хотя бы одну буханку. О, как мы ждали отца с тем хлебом! И молоко

было у нас, и картошка, да ведь хлеба ничем не заменить. И только успевал он внести его, а мама — покраять буханку, мы припадали к хлебу. Он был ржаной и пах как-то на диво вкусно, смачно — тмином. От этого запаха мы быстро насыщались. Но стоило — в мгновение ока — исчезнуть буханке, и скоро снова мы ощущали голод. Верно, тогда, в той самой горькой школе, навечно всей семьей мы выучились: дареный хлеб — голодный хлеб.

И все же... Все-таки какого мне только хлеба, из каких пекарен и по каким дорогам, не посчастливилось вкусить — до смерти не забуду странно-щекотного и чудодейственного аромата хлеба в ту голодную и холодную зиму.

Как-то однажды той зимой пришла к нам в обеденную пору наша соседка, бабуся Семениха. Та самая, которую потом сын ее, Семен, нес на плечах в ряднине к пану нотариусу, чтоб перед смертью завещание написала.

Была бабуся заплаканная, слов не находила, а под мышкой у нее была такая же буханка, как и та, что уже лежала покроенная на столе. Из нескладного рассказа мы поняли, что, кабы не наш батько, смяли бы в толпе старую и, верно, ничего б ей больше не понадобилось на этом свете, кабы не он... и хлебца для нее добыл, и от увечья спас...

Ушла она тогда, а мы долго еще сидели молча. Радовались, что вот какой наш батько сильный.

Как и мама — он всегда передо мной. Для меня он — как закон, как справедливость, как честность и прямота. Потому что ни разу за жизнь он не схитрил и не смолчал там, где молчание было уступкой злу, неправде, укором совести. Тут про него можно рассказывать и рассказывать.

Никогда мне не забудутся собрания в колхозе. На них отчитывался батько за свою стройбригаду. Нелегко ему работать. Еще и потому, что немало таких людей встречалось, которые были равнодушны к работе. Смущенно, неловко рассказывал отец про грубость и про корысть, говорил, что лучше отказаться ему от бригадирства. Трудодни он и пилою да фуганком заработает. Все знают, что он за мастер — усердный, знающий. Было это, конечно, своеобразным его протестом против зла, да, видно, лучшего он не придумал.

И уж вижу я его на трибуне сельского клуба. Вижу, не по себе ему. Не потому, что не хватало слов или умения говорить с людьми. Нет, как раз вот этим он и отличался — сказать вовремя, и мудро, и убедительно.

Как-то просто большой неуклюжей рукой оперся о трибуну и так на нее налег, будто под себя подгрести хотел. Протянул к людям широкую и твердую мозолистую ладонь — свидетельство его порядочности и добродетели, — не думая, наверно, как поднимает она его, великого работника, чья красота и сила в его натруженных руках.

Глянул на присутствующих, словно бы приглашая их к сосредоточенности и вниманию, к тому, чтобы продумать сказанное. Адамово яблоко заходило ходуном на его вытянутой, жилистой шее, лоб собрался морщинами.

— Честно работать тяжко, да на душе легко...

Этими словами начал он свое обращение к людям. Простыми, но достаточными для того, чтобы не только слушать его, но и думать слушая. О, как часто не хватает тем, кто так уверенно держится на трибунах, вот таких простых и убедительных слов! О как много людей могло бы позавидовать ему!

Когда мы были маленькими, он, каким бы усталым ни возвращался с поля или из лесу, играл с нами по вечерам. И опять я вспоминаю широкую и сильную его ладонь. Протянет ее, возьмет малышку, поднимет высоко в воздух и носит по хате. Смеялся вместе с нами тем щедрым смехом, что помогает человеку хоть на минуту оставить все заботы и погрузиться в мир той сказки, которая зовется домашней тишиной и радостью.

В изменчивом потоке быстро плывущих лет каким-то чудом сохранилась карточка, на которой снят батько еще парубком. Красивый, стройный, он как будто смотрит вдаль по дороге жизни. На нем сермяга, домотканые суконные штаны и носки из овечьей шерсти. Вот и все, что нам, сынам и дочкам, осталось от молодой его поры. На той фотографии и отцов брат Петро, наш дядя. Стоит в гусарском мундире австро-венгерской армии, в обмотках по самые колени, с выпяченной грудью, важный, хотя, по правде, вовсе не такой высокий и статный, как наш тату.

Не знаю, чем еще так дорога нам эта фотография. Тем, может, что батько на ней еще безусый, молодой?

Но ведь его только с усами помним. Говорил, что первое дело для мужчины усы, хотя бы для того, чтоб можно было его от бабы отличить.

Был он во всем аккуратным. Раз только и видели мы его небритым. Это еще когда он на лесопильном заводе работал. Утром я включил электробритву. Он приглядывался к ней со стороны и так и сяк — никогда ему такого механизма не встречалось.

— Папа, давайте я вас побрею!

Помолчал, улыбнулся и вымолвил:

— А на лесопилку вместо меня пойдешь?

— Пойду, — ответил я без долгих колебаний.

Мне не раз уже приходило на ум, что вроде бы засомневался мой батько, как бы сын его на журналистских своих харчах не загордился да не зачурался черной, простой работы. О, сколько же их, таких, которые чуть только расстанутся с селом, с сохою да косою, и вот уже и вспомнить даже стыдятся, какого они рода, какого колена.

— Чур, в той одежке пойдешь, в какой я каждый день хожу.

— Добре, батько! В той самой!

В хате все насторожились, ждали, что будет.

Сел батько на табурет, и я приступился к нему с электробритвой. Прошло несколько минут, и всем нам на удовольствие помолодел, похорошел наш батько. Он и сам, глянув в зеркало, с удовольствием крутнул усы и ткнул пальцем в угол, где на лавке лежало его лохмотье. В клиновой побелевшей шляпе со шнурком, в залатанных штанах, в пропахшем опилками и потом пиджачке и телогрейке, из которой торчали ошметки ваты, в разношенных и стоптанных опорках на резиновой подошве явился я к бригадиру распилочного цеха. Тот глянул подозрительно, обождал, пока я сам скажу, что мне надо.

— Сегодня за отца буду работать.

Бригадир помолчал, смерил взглядом с головы до ног, что-то, видно, хотел спросить — то ли про то, почему отец не вышел на работу, то ли про технику безопасности — но только и сказал, чтобы становился на работу.

День в распилочном цеху пролетел для меня быстро. Напарник на распиловке огромных буков достался мне сильный, ловкий — отставать от него не хотелось. Чуть поспевали справиться с одним буком — пустить его на

доски, — тут же подходил новый. И вправду, не зазеваешься!

Под вечер в цех наведался сам директор. Увидал меня, разгоряченного, заморенного. Постоял, пожмурился на падающие пыльною завесой вечерние лучи и быстро подался ко мне — на лесопилке-то я и раньше бывал, как работник областной газеты.

— Что вы? Что вы? — у директора и слов не находилось.

— Я — за отца...

— Да коли б я вас утром увидал, ни за какие деньги на работу бы не допустил. Глядишь, еще какую-нибудь пакость про нас напишете.

— Ну кому ж такое в голову придет? — оправдывался я. Но директору было не до оправданий. Взял меня под руку, повел в лавку. Тут было все самое необходимое для тех скромных потребностей и возможностей, какие могут быть у работника в горах. Директор пробрался в подсобку — на то он здесь свой человек, даже хозяин. Появился розовый ликер, добылись из закуточка рюмки, будто из-под земли, вынырнула нехитрая закуска. Кто-то наскоро порезал хлеб — и пошло угощение. А потом и разговор начался про житье в горах, про заработки и про то, что нынче надо о перспективе думать и сейчас уже заботиться, чтоб люди были заняты и через десять, и через двадцать лет... Леса-то исчезают, а темпы вырубок все растут да растут... Поговорили и про бензопилу, про механизацию при вывозке, что хоть и полегчал на этот счет труд лесоруба, а все же при ручной пиле да при живом тягле почва не так страдала от эрозии... В противоречиях искалась истина, а истину найти не так-то просто...

А потом мерил я запыленными опорками четырехкилометровый обратный путь к родному дому от этой самой лесопилки, на которой наш батько каждый день сражается с буковыми кругляками-великанами, поднимает на станок широченные и тяжеленные распиленные доски, сливается с ритмом машин и сам словно становится крохотной частицей огромного механизма. Солнце заходило за грань Делуца, только вершины гор вокруг Дубового целовались еще с лучами, и было в этом некое удивительное таинство, что каждодневно творится меж небом и землей.

В тот день проникся я к отцу еще большим уважением, еще большей любовью...

Порою он хмурился, молчал, уходил в себя. Тогда мы знали, что буря в хате не за горами. Все затихало, а наша мама искала, чем бы эту бурю отвести. И отводила — не вербой с серебристыми пушками, которую держала за иконой, чтоб кинуть ее в огонь, когда покатится вихрь по грозовому небу. Эту бурю отводила мама молчанием, всегда таившим в себе чудесную силу. Она-то была посильней вербы!

В ней видел я высокое благородство и не раз думал, каким великим должно быть умение помолчать и тогда, когда было бы что сказать, благородство молчания, что гасит огонь и не превращается в слово-искру. В ту искру, от которой вспыхивает огонь.

Прошли года. Наш батько носит теперь не только усы. Он отпустил и бороду. Отрастил длинные, до плеч, волосы. И не знаю, что в этом — дань ли давней вековой крестьянской традиции или взятая на себя епитимья за какой-то грех. К нему пришла старость. Пришла отлетевшими в теплые края журавлями, без курлыканья по утраченным годам, по синим далям с невиданною красой.

И в старости своей он прекрасен. Потому что принял ее как дар судьбы, как приход того предзимья, когда иней падает на луга и деревья, когда небо опускается и клонится к горам отяжелевшим горизонтом.

Борода у него — для икон и портретов, пышная, волнистая на одухотворенном, как у Леонардо да Винчи, лице. Для справедливости надо сказать, что доставляла она ему и хлопоты. Такие небольшие житейские хлопоты.

Ношей легли года на плечи батьковы, но не горбили его. Он не ослаб, упорство у него в работе прежнее, и светлый разум он сберег, сметливость и наблюдательность, как и прежде, ко всему подходит он со своей меркой и оценкой, пусть даже и в дорогую цену обходится ему собственный опыт.

Косит, идет за плугом, орудует топором, а отдыха не ищет, хоть и давно уже заслужил его. И в этом он тоже велик.

Не было такой работы, в которой не был бы он прекрасен. Даже тогда, когда пот выступал на его измученном лице. Даже когда каждый мускул, каждая черточка в его обличье свидетельствовала: «Тяжко, ой как тяжко!»

А лучше, прекрасней всего бывал он летом на сено-

косе. Походка его делалась мягкой и размеренной, каждое движение — выверенным и необходимым, и весь он словно перевоплощался и становился торжественным. Сколько ж табунов коней, волов, сколько коровьих стад да громадных овечьих отар можно было бы прокормить тем сеном, которое скосил он, высушил да сложил в копны и оброги!

Несколько лет тому назад я видел его на сенокосе в Ясеновой. На том нашем лугу, что под самым небом, выше Дубового, что всегда мне светит ранним солнцем, ночными звездами и месяцем, откликается песнями беззаботного детства и потрескивает очагом в избушке, приманивает к себе отзвуком лазоревых далей.

Батько шел зеленым полем в длинной белой сорочке и белых широких портах. Полевые цветы и травы припадали к нему, в складках одежды играл ветерок, трепал седые волосы и кудлатил длинную седую бороду. Я смотрел на него зачарованно и думал: почему не выпало мне стать художником, живописцем? Коли б присудила б меня к тому моя доля, нарисовал бы я всемогущего владетеля-господина всей верховинской земли, хозяина зеленых полей и дремучих чащ, работягу из работяг и красавца из красавцев. Я нарисовал бы его, отца, на Ясеновой. Он великаном шел бы по горным бескрайним лугам, охватывая взором все, аж до синих далей, а фоном ему, могучему и всевластному, было бы само чистое небо... Он и сам словно бы возносился в небо величием щедрой своей души, красотой земного естества. А существом своим принадлежал бы земле в горах Верховины. Той самой земле, которую он убирал хлебами да овсами, украшал садами и напоил соленым горьким потом.

Не думайте, что он с рождения принадлежал только земле и что талант у него был только идти за плугом, думать про урожаи да про сытые отары, что руки у него были только для тяжелой работы.

У него было много талантов. Он мог стать великим оперным певцом, дирижером. Мог удивить мир искусством исполнения, потому что слух у него был превосходный, потому что умел перевоплощаться...

Если бы судьба привела его на подмостки театра, мог бы захватить игрой актера-трагика. Именно был бы он трагиком, а не комиком. Это уж я хорошо знаю, можете мне поверить.

Умение строить рассказ, не только смотреть, но и

видеть, способность жить чужими радостями и болями, проникать в глубины души могли привести его и в литературу.

Не сомневаюсь, что писал бы он только взволнованно. Приспособленчества и угодничества не терпел, ложь ненавидел, был во всем строг к себе и к другим. Писательская жизнь его была бы не только радостью, но и мукой, но был бы он одухотворен и чист в работе, как в поле, на ниве, на всех работах, которые в жизни переделал.

Да что с того, когда в жизни он мог петь только на клиросе по праздникам и воскресеньям! Да что с того, когда в детстве не мог он учиться удивительному в своей красоте украинскому языку, должен был учиться языку чужому, а темперамент оратора мог показывать лишь на сходках! Да что с того, коли дирижировать он мог только маленьким церковным хором. Да и тут ему не повезло: наша мама не дала «развернуться» таланту. Походил он было на спевки смешанного, из мужчин и женщин составленного хора, а мама с детворой сидела дома. Вот она и запротестовала, выдвигая важный аргумент: батько, мол, не просто хором дирижирует да учит петь, а еще и на белые девичьи зубы заглядывается. Пришлось-таки после одного серьезного конфликта отказаться от дирижерской карьеры...

Не потому ли вижу я тоску в его глазах? Тоску по прекрасному и великому, по тому, что вырывает людей из серых будней.

Что сказать? Синяя птица его мечты, его возможностей и порывов пролетела мимо него к далеким лазоревым далям, не уронив с крыла ни одного перышка.

Не потому ли еще всегда в его глазах вижу я печать тоски?..

ВЕСЕННИЙ ДЫМ

Сладким он кажется мне!

Как только стаивали в долинах и на горах снега вокруг Дубового, как только ласковое солнце прогревало землю, а с полонин прилетали теплые ветры, мы выходили на ниву перед нашей старой хатой. Кукурузные стебли торчали с самой осени — поникшие, трухлявые и шершавые от дождей и мороза. Чтобы снова вспахать

ниву, надо было сперва очистить ее и привести в порядок. Эта работа принадлежала нам, детям. Разве не с нее начинали мы приучаться к земле, привыкать к работе хлебороба? Разве не отсюда починались наши весны в селе? Те самые весны, что приносят благородное и очищающее душу беспокойство каждому, кто помнит: она, мать-земля, не только любит ласку, но и сама щедра и ласкова к каждому, кто не ленив в работе.

Мотыгой мы выкапывали стебли, заботливо стряхивали, оббивали землю с корней, чтоб стебли скорее просыхали и легче потом сгорали. Да еще нам мама говорила, что жечь землю на костре — незамолимый грех, что земля тогда чует кривду и плохо родит. Может, то была всего лишь наивная мамина хитрость, чтоб мы старательнее стряхивали грунт и не выжигали плодородия из почвы. Но в мамину правду мы верили, как верят в святость.

Старшие копали, младшие сносили в кучи. Каждому из детей была работа. Все на ниве были захвачены вдохновением. Ведь мы встречали весну, чуяли тревогу и благородное беспокойство весны.

Нива уже стелилась гладкой, отдохнувшей пашней, уже по ней кучками-шатрами серело просохшее на ветру и солнце будылье. И мы ждали того праздничного момента, когда мама позволит зажечь огонь.

Сначала белый-белый дым вздымался над нашей нивой. И нам казалось, что нива оживает. Дым клубился кудрявой тучей, склонялся к пашне гривой разгоряченного коня, медленно тянулся кверху, покуда грива не расчесывалась ветром, не взметалась под охапками стеблей красное, предвечернее пламя. Нива теперь уже жила. И было в этом что-то удивительное, колдовское, таинственное. Пахло дымом весны, который уже предвещает новое прорастание, новое цветение, новый урожай.

Тихо, незаметно вечерние сумерки окутывали село, а нивы все еще светили кострами — не мы одни собирались встречать весну! А небо светило звездами, мигало и дивилось на землю месяцем. Тересва шумела явственней, будто тоже чуяла весну — бодрилась. И во всем было так много от тайны рождения, от тайны прорастания.

В хату нам не хотелось. Мы носились вокруг костров, даром что костер грел только грудь, а плечи мерзли: полонины к ночи еще дышали холодом. Но разве

после долгой холодной зимы не грела нас и радость первых по-настоящему теплых дней? Что там вечера!.. Пускай себе и с холодами!

Наконец мама дозывалась нас до дому.

У порога ждала нас тепло нагретая в большом горшке вода. Один другому сливал кружкой на руки, на лицо, на шею. Мы умывались неохотно — были усталые. Но сколько мы ни намыливались, как тщательно ни терли лица и руки твердыми конопляными рушниками, дым оставался с нами. Дымом пахли руки, когда мы несли ко рту ломоть хлеба, с дымом мы и ужинали, и ложились спать. И какой же был он сладкий!

С нетерпением всегда я ждал и любил те дни, когда приходил к нам дед Федор пахать волами ниву. На участке у нас стоял воз, мы, маленькие, игрались на нем, покрикивали на воображаемых волов, в то время как дедовы волы пахали. За плугом шел наш батько. Он надежно держал чепиги, а я восхищался, гордился им, и только одного понять не мог: с чего это он именно весной таким становится торжественным и праздничным? Только когда года минули, когда пришло познание мира, я все понял: батько мой не просто трудился на земле — он творил. Творил вдохновенно, возвышенно, и работа его обращалась в праздник.

Дед Федор вел волов за налыгач — для пожилого человека это полегче было, чем за чепиги держаться. Наигравшись, напрыгавшись на возу, я хватался за палку и бежал на ниву погонять волов. Правда, погонять их не надо было: они свое дело знали — и порядок в борозде. Так степенно, так важно ступали они на ниве, будто и сами чуяли радость весенней пахоты. Еще бы! На селе весна — для скотинки радость!

На шляпах у деда и батьки торчало по зеленой веточке орешника. Им на Верховине убирались хаты на праздник, а мужчины украшались тем орешником один раз в году — на ниве, во время пахоты. И что бы вы думали, с какой целью? Для чего? А зеленый тот отросточек отводил гром и палящие молнии, град и вихрь — этих лютых и непримиримых врагов селян. И до сих пор не знаю, чего больше в этом поверье — наивности или красоты? Мне кажется — красоты! Ею, видимо, можно оправдать поверье. И с детства сберег я доброе чувство к орешнику не только за щедрость его — какою радостью были для нас орехи, спелые, сладкие, вылущенные — они сами выпадали из гнезд, достаточно

было нагнуть осыпанную ими ветку. Я сберег свое чувство к орешнику и за поэзию поверья, и за дружбу с селянином.

Нива пахалась, и на участке у нас был настоящий праздник весны. Мы видели, как особенно сосредоточенной, серьезной становилась наша мама, когда выбиралась на чердак за семенем. Через плечо у мамы были перекинуты гирлянды золотых кукурузных початков, и будто царицей нив и урожаев спускалась она на землю, чтобы земля засеялась и уродила. Мы уже знали, что еще с осени отбиралось лучшее для посева семя! Ни за ничто на белом свете не сняли бы его с чердака. Это был неприкосновенный хлеборобский запас, и про него не раз мама говорила: беда тому, у кого землица по весне без семени осталась. Такого нерадивца селяне и за человека не почитали — от дедов-прадедов существовал закон: пашня должна быть засеяна, о семенах надо заботиться с осени.

Перед хатой на солнышке начинала мама шелушить семенное зерно. И цедились между пальцами золотые зерна в то самое корыто, в которое ставила она опару на хлеб, — только самая чистая посуда бралась на семена!

Оттого, наверно, что работала мама с той истовостью, что дарует красоту, казалась мне она помолодевшей, расцветшей, усмехающейся. В глазах ее вспыхивали искорки счастья и надежды. В выдолбленное из толстой вербы, пропахшее хлебом корыто драгоценными золотыми жемчугами сыпалось семенное зерно, а обок вырастала кучка белой шелухи.

Проходил дополуденный час.

Пашня блестела на солнце ровными-ровными бороздами, волы, серый и гнедой, жевали жвачку, а корм для пахоты батько тоже всегда приберегал хороший — мягкий, душистый. Какой бы затяжной ни выдалась зима, как мало корму ни было бы для скотины, а весна всегда находила припас для волов-пахарей.

Нашу ниву засевал дед Федор. Медленно набирал он горсть семян из большой конопляной торбы, осторожно, будто взвешивая что-то, мерил, напрягал руку и кидал зерно на пашню. Я смотрел на деда и не мог насмотреться — так между дедовых пальцев просачивалось зерно, будто ровными каплями падал золотой дождь на землю. Шаги деда по распушенной плугом ниве были мягки и легки — ни клочка земли не оставалось пустого.

Сколько ж весен, сколько нив потребовалось деду, чтобы так владеть своим умением!

Дед Федор высевал последнее зерно, снимал с головы шляпу и крестился. Уста его шептали что-то, исполненное надежды и веры. А очами оборачивался дед к лазоревым далям, из-за которых над Дубовым всходит солнце, — верно, просил для нивы погожего лета со щедрым солнцем, с нескупыми теплыми дождями. После надевал шляпу, клал на край нивы борону, кидал на нее плиту и деревянный чурбак — чтоб глубже забирало, чтоб лучше боронилась нива-пашня.

Волы в бороне шли легко. Пашня размельчалась, зерно пряталось в почву для прорастания. Для урожая, для достатка.

И мама не теряла времени. Брала в руки мотыгу, выравнивала ниву при меже на самых краешках, где плугу не достать. О, наша мама знала цену и такого клочка земли. Верно, потому и зеленело у нее повсюду и всегда цвело, родило.

До вечера было еще далеко, когда весь пахотный инвентарь складывался на воз. Так уж бережно клали его, чтобы не повредить чего.

Дед Федор снова запрягал волов, и как же было нам не забраться на воз, чтоб хоть немного проехать. Ехали гуртом и радовались, что едем, и так хотелось, чтоб дорога была длинной-предлинной. А она была на диво коротка. Оттого, наверно, что у потока дед останавливал волов и протягивал к нам добрые свои руки, чтоб каждому помочь сойти на землю...

Потом воз с большими дедовскими волами удалялся, тарахтел на выбоинах неухоженной полевой дороги.

Мы все стояли и глядели вслед, словно бы это не воз катил да катил от нас, а уходила детская наша сказка. А потом возвращались домой, как возвращаются с радостного праздника весны.

Мама и батько еще были на ниве. Держа в руках по палке, шли пашней, будто искали чего-то. А по правде, ничего такого не искали, просто выглядывали, не осталось ли где-нибудь зернинки поверх почвы, и чуть завидят — старательно запихивают палкой в почву, чтоб не отлынивало да не попало вороне в зоб. И не было в том ни скупости, ни нищенства, а, верно, была добрая смолоду наука, как дорожить и как ценить любое зернышко, любую малость насущного хлеба. И для нас, для ма-

лышей, была здесь не сказанная и не писаная, не вдолбленная долгими да нудными сентенциями наука.

Детские годы давно прошли, а и ныне чую я весенний сладкий дым нив. Он дорог для меня, особенно когда на землю снова приходит благодатная весна с заботами для хлебороба, с добрыми ожиданиями и щедрой надеждой. В такую пору и в моем сердце завивается, прорастает и бушует радость.

НАША ХАТА

На том месте, где стояла прадавняя наша хата, ныне уже стоит новая. Только откуда и когда бы я ни приходил к родимому жилью, что бы ни занимало мое воображение, какая бы ни волновала дума, всегда я прихожу только к нашей старой и ветхой хате.

Почерневшей дранковою крышей тянулась она круто в гору. На этой крыше снег зимой, сколько бы его ни выпало, не держался. Бывало, белеет утром наша хата под выпавшим за ночь снежным покрывалом, а растопит мама печку, прогреется крыша дымом — и только загудят, падая под окна, снега. Во время проливных дождей вода по крыше стекала быстро. Высокая крыша — это была не просто выдумка мастера, это была целесообразность!

Одним окном родовое наше гнездо на запад поглядывало, на гору Ясенову, и словно переговаривалась с ней наша хата — подмигивала ей, коли заходило солнце, коли на вершинах выпадал снег, коли на горе батько сушил сено и складывал в обороги.

Маленькими мы не раз торчали на коленках перед окном на Ясенову. Заглядывались на нее, нахмуренную осенними ветрами и туманами, — и будущая весна и лето казались такими далекими-предалекими.

Двумя окнами наша хата глядела на село, мы жили на околице. Все кругом нас заросло, и виден был из нашей хаты один только высоченный купол кирпичной церкви. Но уж коли очень хотелось нам побывать в селе, хоть бы и мысленно, вскарабкивались на пригорок, пробирались чащей выше, выше и вот уже видели всю долину Дубового с хатами, нивами, садами, а им конца и краю не было.

Поперек всей хаты тянулась неширокая веранда. Здесь, на веранде, хранила мама связки конопли, белые,

моченные в речной заводи. У входных дверей, направо, в углу веранды зимой всегда серела кучка песку. Его притаскивали с речки, чтобы зимою было что подмешивать в корм курам.

Вижу я в своем воображении порыжевший, почерневший сруб нашей хаты, обведенной полосками — известка с синькой — на швах меж брусьев. Это всегда так украшало нашу хату! А еще я вижу ввинченные в сруб крюки и на крюках снопики-пучки заботливо припасенной лекарственной травы. Зверобой и мята, ромашка и чебрец, шалфей и ноготки — все-все было в маминой аптеке на всякий случай, хотя она и говорила нам, когда допытывался кто-нибудь, к чему все эти травы: «Пускай висят там — есть не просят, не мешают, пускай, хоть и не понадобятся!» Самый длинный крюк под крышей всегда был принаряжен большой охапкой кленового листа. На листьях мама пекла хлеб. Домашний хлеб — это ж целое таинство. Вот подходило уже в корыте тесто и приятно пахло, в печи приветливо потрескивал огонь, мама распаривала кленовый лист для паляниц. И высушенный, хрупкий лист становился податливым, душистым. Все наполнялось торжественной праздничностью и доброй уверенностью, когда на стол клались свежие хлебы. Силы праведные! Да разве нам в прошлой нашей крестьянской хате могло мечтаться о большем лакомстве в будни, чем этот теплый домашний, мамой выпеченный хлеб!

А к этому всему и молоко от нашей коровки Ружаны. Как мало, как мало нам тогда было нужно! Какими неизбалованными, не искушенными в угождении желудку были мы тогда!

Под крышей нашей хаты были маленькая и большая комнаты. Но сколько б ни насчитывалось нас в семье, теснились мы всегда в одной, в той, что поменьше, комнате. Даже когда девятеро нас — пять сестер и четыре брата — ютились здесь, и тесно нам не казалось. Теперь-то и не поймешь, как это мы в этой комнатушке умещались. Одно только я помню: ни разу мы не заспорили — кто где за завтраком или обедом сядет или где ляжет спать. А спали мы то на большой печи с пузатой дымовой трубой, то на широченной дощатой кровати, на лавках вдоль стен. А кто-нибудь из нас — непременно в зыбке. Так и не припомню, снимали ту колыбель с крюков хоть на одну белую зиму? Вроде бы нет, не снимали. Потому что не успевал один ребенок подрасти,

как уже сменял его вновь народившийся. Вот тут-то и случались единственные, наверно, в нашей хате недоразумения и конфликты, когда какой-нибудь, в длинной еще рубашонке, несмысленыш никак не хотел примириться с тем, что надо уступить другому зыбку. Вот и залезал в нее бедняжка, чуть только представлялся случай, устраивался в ногах у грудничка — и снова посвистывали над ним, поскрипывали крючья, кованные в кузнице первостатейным мастером. Дно в зыбке из вербовой доски, чтоб не поддавалось влаге, не сырело и не гнило, чтоб держалось долгие-долгие годы. И никто из нас не удивлялся, коли вдруг цедила зыбка ручеек — ребенок сладко спал при этом. От струек да от ручейков дно зыбки словно еще проконопачивалось, еще выносливей становилось. Да и вся зыбка не только от комнатного тепла, от пару да от дыма — еще и от годов своих немалых — пожолкла, покраснела, подубилась.

Как-то раз после рождества, а может, перед самой пасхой, крюк перетерся и сломался. Ребенок выпал, но не разбился — так хорошо был укутан. То-то было переполоху в хате! И как счастлива была мама, что никакой беды не приключилось. Я же думаю теперь — что ж это за сильный, могучий да великий род наш, коли даже железо в зыбке не выдерживало — перетиралось, бедное!

Больше всего я радовался, когда над хатой взвивался легкий дымок. Как тепло и сладко делалось тогда на душе. Дымарь выходил на чердак, дым расползался по нему, искал щелиночки на волю, пробирался-таки на поверхность. Наша хата жила очагом. На плите варилось и жарилось. А какое ж это было счастье, когда мама разводила огонь в печи! Целыми часами вглядывался, как занимался трескучий хворост, как рвался огонь в трубу, как наливались жаром и распадались головешки. От печи я уходил, только когда надо было уступить место маме. На большой деревянной лопате сажала она хлеба, крестя в воздухе каждую паляницу, будто снаряжала ее бог знает через какие броды и перевалы в дальнюю дорогу.

Каморки или кладовой в нашей старой хате не было. Кадку с капустой на зиму, молоко в бочонках на время великого поста, калачи и белые паляницы для рождества и пасхи — их у нас пекли всего только два раза на год — мама держала в большой комнате. Чуть только

отворится дверь туда — и в иашей комнатеике запахиет молоком, хлебом, капустой. До веку ие позабыть мие этих вкусных запахов, как ие забыть и детства своего в родном отцовском гиезде, как ие забыть мне эха лазоревых далей, что всегда откликается началом хожеиых и ие хоженых еще дорог.

Кладовой еще служила иам длиниая, во всю стену, полка над входиыми дверями. Чего только на той полке не было! Клубки ииток и шитье, иедовязаииый капорчик и рукавица, молоток и молитвеииик. Тут лежал сверток каких-то документов и важных бумаг, словно бы нигде в хате не иашлось для иих места получше. И кукурузный хлеб иа той же деревянной полке лежал. К нему тяиулись мы, поставив табурет. Кому как больше иравилось, кто как умел — ножом, а то и просто рукою, отрезали, отламывали. Когда кончались караваи, а свежий хлеб еще ие был спечен, тянулись мы к этой полке, чтобы иабрать себе хоть горстку крошек.

Почернела старая полка. В иашем доме верно и честно служила оиа немало лет — будто поселилась оиа в хате вместе с первым хозяином, с первой хозяйкой. Многое могут порассказать вещи и предметы про жизнь, про достаток и удачи. Не зиаю, как для кого, а для меия вот эта иаша древняя полка дороже самых ценных полированиых гариитуров и хитро-мудро смастерениых буфетов, витрин для пустых безделушек да форсистых сервизов.

В детстве иикак я ие припомииаю часов в иашей хате. Их просто не было. И не потому, что ие сгодились бы! Да что ж поделать, коли каждый хоть и самомельчайший грош иикак ие шел к иам доброй волей — хоть на аркаие его тяии! — зато из дому — бегом, вприпрыжку, без оглядки! Где уж там было до часов!

Издавна в селе повелся обычай звоиить на церковной колокольие в обедеииую и вечернюю пору. Этот звои не созывал к молитве — ои совсем-совсем земной был. В обедеииую пору как слуга оповещал людей, что время садиться за стол и отдохиуть иемиожко, чтобы достало сил работать дальше, до самого вечера. Совсем другим был звои вечерний. Этот уже хозяииом был, властелином села, и плыл он иад селом увереиио, накатывал волнами — перебирался через хребты и вершины, перекидывался за голубые темиеющие дали и пропадал вдалеке. Бабуся иаша рассказывала, что после вечериего звона из чащ и дебрей, из сииих скал и пещер выпол-

зает всякая нечисть, потому вечерний звон казался мне на диво колдовским, даже страшным...

Звонили в обед — мы знали, что мама должна позвать нас. И мы все — тут как тут!

Ели мы из нескольких мисок. Ели молча, потому что и мама и батько сердились, когда за едою разговаривали. Да, правду говоря, не до бесед нам было. Одни только ложки-цинянки позвякивали. А ложек в хате ровно столько было, сколько детей и взрослых. Порою, бывало, терялась ложка. Что тогда шуму поднималось в хате! Но никто ни на кого вины не складывал и не искал виновных. Тут действовал один закон — безоговорочный для всех: никто не смеет садиться за еду, покуда ложка не найдется. И сколько ж энергии и находчивости вкладывалось в поиски, чтобы они не затянулись, чтоб еда не прохолонула!

Ложки-цинянки, верно, потому так назывались, что покуда новые, блестели цинком — в нашей хате гордились ими. Правда, так усердно выгребались ими эмалированные миски, что скоро они стачивались и, острые, ранили нам губы. Но никто не жаловался, и ели мы теми ложками так смачно, аппетитно — всем богачам на зависть.

Почему-то самая обычная дешевая ложка напоминает мне ярмарки в Дубовом, в долине Тересвы.

Я зачарованно стоял, глазея на раскинутый шатер торговца, держась за мамину руку, чтоб не затеряться в толпе.

Приземистый, тщедушный, бритый владелец разной мелочи держал высоко в воздухе целых шесть ослепительно блестящих ложек, выкрикивая: «За крону! За одну крону — шесть ложек! Не пять, не четыре, не три! Шесть ложек! Купи, баба! За крону!.. Шесть!..»

Мама и сама любовалась заманчивым и искусительным холодным блеском. Она стояла обок и все глядела, глядела. Кто-то рядом тоже пялился на торговца. Кто-то, протиснувшись, подавал через голову крону и тут же, получив покупку, упрятывал поглубже в торбу, как невесть что добыл. А мама стояла и смотрела. Я не мог понять, отчего ж она не покупает по такой дешевке — разом было бы чуть не для каждого из нас по новой ложке. Может, колебалась мама, стискивая в кулаке тяжко заработанную крону, а может, просто заворожил ее торговец своими выкриками. И только когда начинал он с размаху колотить ими о стол, маминым колебаниям

и размышлениям приходил конец. Из-за вышитой пазухи вынула платочек, бережно развязала узелок и отсчитала несколько галлер. Крепко сжав их в кулаке, она решительно приблизилась к торговцу... Когда шесть ложек оказались в ее руках, она еще раз взглянула на них, будто хотела убедиться, что их не подменили, что те самые, от которых треск шел по всей ярмарочной площади.

О чудо!

Торговец бил ложками так, что грохот от шатра катился по всей огромной и шумной ярмарке, а дома едва мама попробовала черпнуть ими густой холодной мамалыги из горшка, как они тут же погнулись. Батько добродушно усмехался и замечал, что эти ложки для того только и продавались, чтобы любоваться ими или за иконы класть для украшения. Мама отмалчивалась. Верно, в мыслях ругала торговца и каялась, зачем только их купила, жалея выкинутых грошей. Сам я огорчался и ничего не мог понять, а всего-то здесь и разумения было: грохот от ложек — это не больше чем реклама. Вот и теперь я думаю, что в каждой рекламе всегда есть капелька и жульничества, и коварной хитрости, и вранья — так не навел ли меня на эти мысли тот бритый, приземистый владелец и продавец сомнительной дешевки?

Проходило немного времени, и оставалась на виду одна какая-нибудь ложка — другие давно были закинуты, чтобы не напоминали об убытке...

Летом, при ясном дне, вместо часов нам было солнце на пороге при входе со двора. Мама всех нас учила определять по солнцу время, только не каждый постигал ту сложную науку. Один брат Петро таки разбирался в солнечных часах. Должно быть, потому, что самым старшим был и больше всех за все в ответе.

— Петро, который час? До полудня далеко?

Брат шел к двери, смотрел, как падает тень от столбика на пол, на порог, и отвечал. Вместе с ним и мы глядели в оба, да ничего не понимали. И проникались доброй завистью к Петру за его осведомленность в маминых часах.

Вечером светилом в хате служила нам керосиновая лампа. Висела на проволоке, прикрепленной к балке, и немилосердно коптила. Копоть ложилась на потолок черной тучкой, и пособить тут ничем было нельзя. Но еще хуже этого — бывало, трескалось по неведомой

причине стекло у лампы. Коли щербина была невелика — случалось, выпадет кусочек, — залепят бумажкой, и светит себе лампа дальше. Хоть и мигает по-сердитому, и вспыхивает — а свет в хате был. Однако и нередко в долгие вечера светил нам только каганчик. Все тогда уходило в темень, мама сердилась на фабрики, что делают такие поганые стекла, ругала торговцев, что дорого за них дерут.

Проходило время. То ли за кучку яиц, то ли за молоко, а собирала-таки мама на новое стекло. Так ясно, так светло тогда было в хате — как-то странно даже было нам после тех долгих слепых вечеров.

Я прихожу в наш старый дом всегда, как будто из далекого томительного перелета. И каждый раз я молодею и снова чую в себе силу. Это — от старой нашей хаты, такой приветливой, щедрой, счастливой. И уже в целом мире нет таких палат, чтобы затмили свет родного дома. Того, что стал для нас гнездом и колыбелью, началом нелегких дорог от далеких и ясных лазоревых далей.

КРИНИЦА И БОЛЬШИЕ СЛАДКИЕ ЯБЛОКИ

Тропинка от хаты шла через поле деда Федора.

Вижу батька, он идет к кринице и исчезает за высокими стеблями кукурузы; вижу маму, она с двумя ведрами идет к дому. Ведра несет так легко, будто сами они плывут над землей с ней рядом.

Только внесет она ведра в хату, все мы к ним разом кинемся — попить после ужина. Какая ж холодная, какая ж вкусная была вода в нашей кринице на околице села! Наверно, никогда, нигде не пил я больше такой воды!

Летом долгими минутами выстаивал я на коленках над родником, вглядываясь в мир, что отражался в нем. Никак не мог я надивиться, что все такое большое-пребольшое вдруг умещалось в зеркальце криницы, и как же непонятно было, коли по этой глади не просто бегал, а будто на коньках катился паучок! Попробуй уследи за ним, а так хотелось знать, на чем он катится. Вот это была загадка...

— Ива-ан! Неси воду скоре-ей! — долетало грозное мамино от хаты, когда я мешкал, и, словно бы очнувшись ото сна или возвращаясь из дальних странствий,

я поскорей набирал воды — рушился в кринице весь лазорево-зеленый мир... И спешил тропинкою, расплескивая воду.

На нашем участке был еще один родничок под белою черешнею, на горке. Из него мы брали воду по летним праздникам, когда уж очень жарко было. Источник этот вытекал из дальних глубин горы, вода в нем была особенно холодной.

Не только криницами памятно мне древнее наше подворье в Дубовом. Нынче на нашем родовом участке прекрасный сад — яблони, груши, сливы, орех. А когда-то не было того сада — его наш батько выходил. Помню, было у нас на участке несколько вековечных яблонь да здоровенная груша-дичка. Кто знает, сколько лет было тем деревьям, той яблоне, что росла недалеко на поле и во все стороны света простирала ветки, будто звала к себе жаждущих отдыха и тишины. Верно, далеко за сто ей было, когда мы народились. Высокая, развесистая, чертила она причудливыми линиями верховинское небо, корявилась сухими сучьями, а ее все не рубили. Так и стояла патриархом, всем деревам дерево, пока сама не умерла, не высохла.

Вспоминаю весны, когда мы все думали, что уже не распустится она, не расцветет и малой веточкой. А она наперекор всему выкидывала зеленый лист, белела молочным цветом, еще выказывая силу и волю к жизни. Было в этом что-то и волнующее и радостное, и мы уже по-детски нетерпеливо ждали плодов, яблок.

Убегали дни с неделями и вырастали яблоки, наливались соками, румянились, желтели. В пору, как вырастала на ниве отава, твердела зерном кукуруза, а дни еще были теплые, хорошо мне было прятаться в поле, вслушиваться в шумящий мошкарой воздух, вглядываться в чистое небо. Вдруг падало со стуком яблоко. Я вздрагивал оглядываясь. Надо мною прогибались отягощенные сладкими, крупными плодами яблоневые ветви. И сладкий пахучий сок был мне наградой за одиночество, за разговор с яблоней, за жалость к ней, чего ж она усыхает?!

Давно нет старой яблони на нашем участке.

Вокруг новой батьковой хаты новый сад. Он поднимался и рос вместе с нами, его сажал и пестовал наш тату, как пестуют и холят то самое дорогое, с чем связан годами жизни.

В том саду любовь его к природе, к земле и трудо-

вая жизнь его... И все-таки... Все-таки дороже мне во сто крат та старая наша яблоня, что неподалеку от старой хаты. Та самая, что зеленела смерти назло, что родила большие сладкие яблоки.

ДЕДЫ

Они — как мощные корни нашего рода: дед Петро и дед Федор.

Дед Петро всегда серьезный был. Коли нахмурится и стиснет зубы — значит, сам с собою разговор заводит...

Славился он как знаменитый мастер на всю Тересвинскую долину. Умел плотничать и столярничать, делал бочки, знал ремесло печника и каменщика. Вряд ли можно было вообще назвать что-либо, чего бы дед Петро не знал. Каких только работ не переделали его сильные, хваткие руки, какого только добра не оставил он по себе! К старости даже за пасечное дело взялся, и я уверен, что таких ульев, какие смастерил он для своей пасеки, не было ни у кого.

Для меня дед Петро был тайной. Я, признаться, даже побаивался его, когда, насупив брови, он хмурился и вглядывался, вглядывался во что-то. Тут, казалось мне, он видел все насквозь, и мы у него как на ладони — кто про что думает, что хочет.

Жил он на улице, по которой мы ходили в школу. Самое первое и самое дальнее наше самостоятельное путешествие всегда было от родной хаты до хаты деда Петра. И словно великий мир дорог всей нашей жизни начинался от родного дома, устремлялся к улице с дедушкиной хатой под раскидистой, пышной грушей за огородиком, в котором так буйно веснами цвела сирень.

Сам работящий с малых лет, он приучал нас к труду и радовался, коли мы были к нему охочи. А тех, кто был способен часами сидеть без дела, терпеть не мог. Только придем к нему и разом за дело примемся: то ли дровец притащим бабушке, то ли фасоль почистим. Самое это наше детское дело было... И как же радовались мы, коли выбирались к деду на уборку кукурузы. Батько помогал деду выламывать початки на поле, а вечером всем скопом и мы являлись на подмогу.

Нелегко нам с братом было управиться с большими початками. Поглядит дед на нас, как мы пыхтим — ста-

раемся стащить мундир с какого-нибудь великана-початка, — качнет седою головой и усмехнется чуть заметно — верно, по душе ему наше старание приходилось. Он-то знал, что без старания ничего в жизни не приходит, а уж на бедной Верховине в особину — и в поле, и на ниве, и при работе в лесу.

Нам это дедово поглядывание и похвальная скупая усмешка придавали бодрости, и мы с еще большим упорством и рвением очищали зернистые початки. Платою нам был каждый молодой початок. Зерно на нем пробовалось ногтем. Початок мы откладывали в большой горшок и еле дожидались, чтоб бабушка поставила варить. Наконец в дедовой хате начинало пахнуть кукурузой. О, этот лакомый, благодатный запах, который уже потом, и в юношеские, и в зрелые годы, ничем и никогда было не заменить. Мгновение, когда длинные желтые початки лежали уже на широкой тарелке, когда над ними белой кудрявой тучкой клубился пахучий парок, а бабушка подавала еще и соль, всем нам казалось торжественным и знаменательным. Без поспешности принимались мы за еду — все бралось по порядку, все знали: каждый початок хорош и вкусен, а перебирать, ловчить — грех неспасенный! Куда вдруг и сон девался, и снова мы брались за початки, даром что сам дед велел идти ложиться спать.

Брат Петро был сильнее и выносливее. Он еще подгребал к себе неочищенный початок, я же нырял в кучу шелухи — снятых с кочанов мундиров и сладко засыпал. Сон был крепким, и, конечно, трудно было запомнить, какими дорогами он меня водил. Перед рассветом я уже чувствовал, как упираются мне в бока жесткие торчки ботвы в подстилке, а все равно спалось. Бабушка тарахтела посудой, подойником, шла доить корову, звенела дужкою ведра — из колодца принесла свежей воды. А я спал и слышал все сквозь сон.

Когда из-за далекой лазоревой дали над Ясеновой вставало солнце, скользя лучом сквозь маленькое оконце под соломенной крышей дедовой хаты, бабушка нас будила. Спросонок не сразу было нам сообразить, где же это мы заночевали и что это за хата. Да только протрешь глаза, и вырисуются очертания дедового верстака у окна, и вынырнут из полумрака ряды икон под потолком — все становилось ясно.

Мы бежали умываться на холодный осенний двор, и сна как не бывало. Можно было браться дальше за ра-

боту, чтобы честно отплатить бабушке за вареную кукурузу, за горсть сушеных груш, а может, и даже заслужить себе право на яблоко в великий пост, перед самой пасхой — верно, на всю округу у одного деда Петра они так сберегались.

Большая ветвистая груша у дедовой хаты протягивала ветки на улицу. Родила груша щедро и была действительно царицей всего сада. В урожайный год сушила бабушка с нее целую гору груш, сладких-пресладких. Ни инжир, ни знаменитый урюк, ни финики не могли бы поспорить с ними. Даром, что кидала груша большую тень на дедову ниву, он даже и подумать не мог, чтобы обкорнать какую-либо ветку. Только когда понад улицей протягивали линию электрических проводов, спилили несколько прекрасных веток. И уже виделась груша не той...

До самой смерти останется для меня дед Петро воплощением трудолюбия, неутомимости. Никогда он не сидел без дела, и никто на свете не мог и не умел так все добротно и надежно сделать, как он. Коли навесил дверь — десятки лет будет стоять, не скособочится, не пересохнет: у деда в работе свои секреты были, свои методы-способы.

А мастерской деду служила та же хата, в которой жил он, встречал рассветы и вечера. Никаких особых помещений с вентиляциями и приспособлениями. Кстати, для проветривания комнаты-мастерской прорублено было в потолке отверстие, через него выходила пыль, и выпары от клея да красок.

Рейки и доски, заготовки для дверей и окон, заклепки и обручи, всяческое снаряжение — все-все умещалось под крышей дедовой невеликой хаты, все знало свое место и было под рукой у мастера в любой момент. И пахло всегда у деда стружкой, смолой-живицей, красками.

Дедов верстак был старый-старый, сделанный надежно и практично, теперь я думаю: как же много, наверно, сил да здоровья забрал он у деда и в то же время каким большим, надежным помощником был для него. Стоял перед окном, выходившим на огород, так, что солнце всегда падало на него. И стояла в хате целая завеса пыли, и было как-то странно-странно. Дед тогда казался не просто мастером — был похож он на мыслителя, сосредоточенного, напряженного, на селянина, вросшего в землю, — только и любоваться им.

Коли стругал дед доску, стружка из-под фуганка вилась длинной ленточкой, спадала золотистым завитком на земляной пол, к дедовым ногам. Так стругал он, будто шел в размеренном танце. Я завидовал бабушке: всегда ей хватает растопки в хате, не то что нам — и щепать надо было лучину, и подсушивать ее в печи.

Во всем дед Петро был тверд и неподатлив, как кремень. Имел свои пристрастия, свой взгляд на мир. Както я застал его за необычною работой. В руках у него были две планки сломанного метра-складенца, который за ненадобностью подарил ему один сосед. Так разве мог дед спокойно смотреть на поломанную вещь. Конечно же, он должен был его починить. Починка оказалась довольно-таки канительной и хлопотной. Тут нужен был специальный инструмент для работы с бляхой, а у деда такого не было. Я долго смотрел, как дед копается, как раз за разом начинает сызнова, а дело все не ладится. Аж потом обливался дед, а все не отступался.

— Да как же вы, дедуня, этот метр сложите, коли он сломан и не дается?

— А хоть зубами, да сложу! — Дед вытер рукавом пот со лба, опустил руки на колени, передохнул чуток, уставившись в окно и покачивая головой. А потом сжал губы и взялся колдовать дальше. И все же починил метр.

Дважды на год дедова хата принаряжалась, а один раз — убиралась зеленью. На рождество и пасху только верстак напоминал о том, что тут живет мастер. Правда, и стол прикрывался скатертью, в рождественские дни на нем лежал керечум — небольшая белая булка, спеченная на праздник. А на пасху хата была еще торжественней и веселей. В ней пахло калачами, вареньем, яблоками. И уже совсем необычайной становилась хата в троицын день. Вот когда убиралась она зелеными ветками орешника, наполнялась запахами травы, рассыпанной по земляному полу. Да и сам этот пол был не будничным. Хозяйка смазывала его сырой глиной и чуть-чуть присыпала песочком.

В праздничные и воскресные дни дед был торжественным, чисто одетым — хоть икону с него пиши. Длинные седые волосы пышно кудрявились, на челе — печать глубокой думы и проникновенной мысли, очи будто светлели и охватывали далекие просторы.

Трудился до конца. Потому, наверно, даже после смерти его осталось в хате много-много столярных за-

готовок, незаконченной работы. Правда, и не должен был он так тяжко трудиться. Хлеба на себя и бабушку ему хватало, да и к хлебу тоже. Кабанов колол, корову в хлеву держал такую, что хоть на выставке ее показывай — столько молока она давала. Кукурузы на ниве родило всегда до нови, и картошка была, и яблоки, сухие фрукты, стайка кур. Казалось бы, чего еще нужно было двум старикам? Но дед оставался при хозяйстве: нивы и луга не передавал детям, хотя на отдельных пашнях и луговинах именно они и хозяйничали. И уже только перед кончиной завещал он, кому и что оставляет в наследство.

— Чего вы, тату, столько трудитесь да трудитесь? Сколько вам надо теперь — дали б рукам отдохнуть... — как-то сказал ему мой батько.

Дед помолчал, покачал головой, будто что-то взвешивал, а потом:

— На готовый хлеб зубы найдутся!

Вот таким был наш дед Петро!

Дед Федор, мамин отец, деду Петру был полной противоположностью. Этого запомнил я с той великой нежностью и добротой, с той лаской и благодарностью, уважением и любовью, которые дают умершим силу жить в памяти живых. Деда Петра я очень почитал, я удивлялся тому, какой он был необыкновенный мастер, сдержанный во всем, неуступчивый и твердый. Дед Федор очаровывал мягкостью и ласковостью характера, необычайной широтой души.

В нашей хате снова родился ребенок. Батьки дома нет — он на заработках. А мы маленькие и не знаем, чем помочь в малом нашем хозяйстве, как быть, что надо делать? И тут является наш дед Федор как помощник, как добрый дух, как защитник. На кровати лежит мама, на печи — большой селянской печи — греется в свивальничке грудной ребенок, а перед печкой на скамеечке дед сидит и набивает люльку табаком. Долго, чинно набивает, с какою-то торжественностью, и так же торжественно потом открывает дверцы печи, разгребает жар и кладет глиняную люльку в угли. Пока люлька-глинянка пропекается, пока табак в ней начинает тлеть, дед Федор сидит на страже перед печкой и допытывается у мамы о чем-то, вовсе нам непонятном — а что бы мама съела да что бы выпила, за какими лекарствами

надо сходить в аптеку? Из дому прихватит дед молока и масла, белой муки и яичек — всего-всего, чтобы покормить не только больную маму, но и нас всех. Вот он уже колдует на плите, варит мамалыгу, приправляя ее мятою, сбивает масло. Вот и яичница поспела, в хате — вкусные запахи дедовых приправ и кушаний, а у нас на душе — тепло и радостно. Ведь не кто-нибудь там, а сам дед Федор готовил завтрак, и, коли он в нашей хате, сама она казалась нам приветливее и светлее.

Мы едим, а дед на лавке сидит и пыхает табаком, дым вьется над дедовою лысиной кудрявым голубым облачком. Никогда я не видел, чтобы кто-то с таким же наслаждением курил, как дед Федор. И тут тоже была между двумя дедами разница. Дед Петро в хате своей просто не дозволял дымить. Это в селе все знали, и только приблизится кто-либо к его порогу, так первым делом трубку в карман.

Накормив родильницу и всю нашу мелюзгу, дед Федор собирался в аптеку и довольно скоро возвращался с лекарствами. От них так пахло по всей хате, что голова шла кругом, а мама, напившись их, так крепко засыпала, что нам становилось страшно. Мы гомозились на печи, сидели на лавке и все поглядывали на маму. Лицо ее было бледно, но спокойно, словно она, наша мама, прошла большую тяжкую дорогу и наконец могла хоть чуточку передохнуть.

Дед Федор был набожным. Но его вера в святых и небо ничем не походила на веру во всемогущего бога деда Петра. Дед Петро был книжник, больше того, сказал бы я — теоретик и мыслитель. На молитве видел я его в очках, что придавало ему видимость учености и торжественности. Старинные дедовы книги были обтянуты кожей-сырцом — он умел переплетать книги. Дед Федор молитвенников в хате не держал и в религиозности своей был, пожалуй, практиком — его молитва не от книги шла — от чувства. У деда Петра в хате была целая галерея икон, развешанных по чину и по важности, в последовательности, в которой разбирался разве что один только хозяин дома. У деда Федора — две-три иконы, и то, наверно, больше для приличия. А между иконами развешаны были для украшения расписанные орнаментом белые тарелки и тут же большая рама с фотографиями. Каких только фотографий там не было! И дедов сын в расшитой верховинской одежде, и дядька Юра в мундире чешского солдата, и дочки во весь рост,

до пояса, с румянами на лице, их для красоты подмалевал незадачливый фотограф-самоучка, что по летним праздникам бродил по селам и щелкал за небольшие гроши дешевым аппаратом.

Не знаю, какое самое любимое яство было у деда Федора. Ведомо мне только, что очень он любил свежую рыбу. Нет, не ту, которую за деньги покупают в магазине, а пойманную в горной речке — так себе, мелочишку... Для настоящих мастеров-удильщиков она могла бы послужить разве что только наживкой. Но и такую вот «наживку» наловить в речке на тихих заводях было непросто. Я, бывало, целыми часами бродил по берегу, выслеживая то гольца, то плотвичку, то пескарика, поднимая камешки, дожидаясь, пока мутная вода очистится, протечет. Рыбешка притаится так, что ее чуть видно, ей, бедняжке, тоже охота жить!

Но вот изловчишься, вденешь ее на вилку, и как затрепещет она, забьется в воздухе — значит, всем ты рыбакам рыбак!

Зажмешь ее в кулак, кинешь в шапку, а шапку нахлобучишь... Как она трепещет, и кажется тебе, что большего улова не может быть на целом, на великом свете с широкими морями-океанами.

Тут, верно, дело было не просто в радости, что вот как ни ловка и ни быстра рыбка, а ты все ж таки и ловчее и быстрее оказался, — разом виделся мне дед Федор, улыбающийся, будто помолодевший, чувствовалась на щеке жесткая его ладонь, пахнущая хлебом. Дед всегда любил сам резать ржаной хлеб к обеду, оттого и руки его всегда пахли хлебом.

Так-то принесешь добычу к деду Федору, он тебя погладит ласково и усмехнется благодарно. Нет, не просто усмехнется, а как-то весь расцветет и соберется ставить токан. Токан дед варит долго, выпекает и припекает его на жару, чтоб повкусней за попитательней стал. В небольшом горшочке кипит вода с укропом, в нее дед кинет всю добычу из речки. Понесутся разом по хате струйки таких рыбных запахов, будто тут первый куховар целого континента хозяйничает. Вареную рыбку дед посыплет порезанными перышками зеленого лука и чинно приступает к трапезе.

Токан в рот дед несет целыми ломтями; осторожно и бережно берет гольца, плотвичку, пескарика. За всякими столами — бедными, богатыми, роскошными — ви-

дал я потребляющих выращенный на земле и добытый в реках да морях печеный и вареный корм, да только не выпадало мне видеть, чтоб поедались яства с тем наслаждением и смаком, как едал речную мелочь дед Федор.

В этот час дед Федор непременно и с гордостью вспоминал прошедшие года и ту рыбу, что водилась в нашей речке Тересве. Верно, не замечал он, что всякий раз, как только садился за ужин и вдыхал парок речного сокровища и зеленого лука, начинал рассказывать все ту же, одну-единственную байку, как изловил в тихой заводи рыбу-великана: еле-еле вытащили ее на берег два человека. Когда я удивлялся и не мог себе представить, что ж это был за кит, дед только сокрушенно рукой махал, что, мол, было это все да быльем поросло.

— Что ты, сынку, знаешь? Теперь и реки уже не те, что прежде были, и рыба в них не та... Да что там! И леса другие ныне стали, и люди...

При этих словах дед замолкал и погружался в думы. Уже ничем его нельзя было заинтересовать. И долго мог он так сидеть у тесаного древнего стола, опершись на локоть и опустив седую голову. Глядел на меня и, верно, думал: «А что тебя, сынку, ждет завтра, послезавтра?»

Как только являлся я в родное село из Хуста — я учился там в гимназии, — святой моей обязанностью было проведать дедов, поклониться им. И было положено не просто так зайти к ним, а с отчетом: как идет учение, как живется, про что в свете говорится. Дед Петро, правда, расспрашивал скупо. Иной раз не поймешь даже — по душе ему или не по душе внуково учение в чужом городе. Слушал дед, да помалкивал, только под конец разговора молвил:

— Не забывай, сынку, про постолы! Выучишься, человеком станешь — не забывай, из какого гнезда вылетел!

Дед Федор тут на глазах менялся — светлел и молодел, чуть только я переступал порог старой его хаты. Он гладил меня по голове, просил бабушку, чтоб поскорей сготовила яичницу, чтоб принесла нам из кладовой молока. И получаса не пройдет, а мы с дедом Федором уже за столом сидим, угощаемся. Но ни разу за все года я не припомню, чтобы явилась на столе бутылка чего-нибудь спиртного. И был в этом, как думается

мне ныне, и здравый смысл, и верность родовому корню, что черпал силу свою в труде и трезвом видении мира и ни забавы, ни подмоги в проклятом алкоголе не искал.

Само собой, никак нельзя было миновать порога деда Федора, когда каникулы кончались и снова стелилась мне дорога прочь из родимого села. Дед Федор всегда шел со мною до ворот, так, словно собирался сказать мне что-то по секрету от всех. У самых ворот дед останавливался. Из кармана за пазухой неуклюже сшитого грубошерстного жилета доставал сыромятный, заботливо перевязанный конопляной пасмочкой кошелек. Неторопливо разматывал пасмочку, вынимал деньги. Давал дед небогато: 10—20 крон. А мне и ныне кажется, что давал он много, очень много.

Иду я улицей, и, не знаю почему, делается мне грустно. Странная это, легкая и непонятная в своей таинственности грусть... Поворачиваю голову, а он стоит у ворот. Без шапки, без свитки. Стоит и провожает меня глазами. Какая ж сила держала его у ворот?

Живым перед воротами вижу его и ныне. А еще я вижу, как в нашей хате падает багровое сияние от углей на лицо его, сухощавое, продолговатое, — в те утра, что так запомнились мне немолчным плачем грудного ребенка и дедушкиными хлопотами. Таким он для меня останется вовеки.

Дед Петр и дед Федор были сваты. Но никогда не ходили они друг к другу. Не то чтобы враждовали, но и не любили один другого. Эта неприязнь чувствительною болью ранила и нас — внуков. Ведь как было нам решить, который из дедов лучше, которого нам больше любить? Оба они были для нас велики. Правда, велики!.. Даром, что не было в них во всем согласия.

Их примирила смерть. Теперь они лежат на нашем сельском кладбище рядом. Такова была воля живых. Мать-земля породнила их на том кладбище в Дубовом, что тоже кажется мне самым красивым, самым тихим и самым святым на свете... Обведено оно елями с истемна-зеленой, похожей на черные знамена хвоей. Когда слетает с полонин студеный ветер, шумят они печальным, смутным шумом, маячат ветви их на черном небе, а вон там далеко обвивает село холодная полоска реки Тересвы... И леса... Леса...

Разве нет справедливости в том, что слово «баба» может показаться немного грубоватым по звучанию?

Чтобы слышалось оно помягче и поласковей, стали говорить еще и «бабка». У нас же на Верховине говорят лишь «баба». И это всегда звучит по-доброму, а значит, лишь одно: баба — отцова мать, мамина мать. На Верховине слово это не имеет иного смысла. А в таком понимании это обычное, простое и скромное, чуть даже приглушенное, чтоб не сказать глухое, слово разве может показаться грубоватым?

Отцова мама рисуется в моем воображении статной да пригожей, доброй работницей. Не знаю, откуда у меня к ней столько нежности. Верно, от тех рассказов батько́вых, в которых всегда была она вся в хлопотах, делах, заботах о немалой своей семье в те поры, когда недаром придумали присловье: «Муж держит угол в хате, а жена — все три». А может, оттого к ней эта нежность, что рассказывал батько о ней всегда с печалью, болью и вечной благодарностью к ее светлой памяти.

Скончалась она давным-давно от тифа, оставив деда с целой кучей малых детей.

Дед скоро женился. Отчего он противу обычая решился не соблюсти положенного срока, отчего женился так скоро после похорон? «С того, что шел великий пост, что надо было сварить на малышей, одежку им постирать... С того, что просто-напросто не обойдется в хате без хозяйки!» — обронила как-то тетка София, когда пошел разговор про давние семейные дела. Привел дед в хату мачеху, и неродные сыновья и дочери говорили ей «мама». Говорили и тогда, когда уже повылетали на своих крылах из дедова гнезда под соломенной почерневшей крышей. Эту бабушку сам запомнил хорошо. Была высока ростом, всегда разговаривала сама с собой, странно подмаргивала левым глазом — это у нее такой изъян был.

Всегда почему-то помню ее сердитой, насупленной. Может, она и не была такой, а только нам казалась, оттого, что невзлюбила мою родную маму. Была скупа, и скупость эта, думаю, была порождена долгими годами недостатков, страхом перед завтрашним днем. Вот уже и достаток поселился в дедовой хате, уже всего хватало на чердаке, и в кладовой, и в погребе, а скупость оставалась. Вошла в привычку, пристала, прилипла к

характеру. Наверно, так уж оно и есть: хоть и меняются условия и обстоятельства жизни, а привычки, нажитые долгими годами, остаются.

Есть действия, поступки, к которым с потоком бегущих лет меняется наше отношение. Таков был и мой с бабой Петрихой спор о грушах.

А что это был за́ спор?

Каких только деревьев не было в родовом саду! Сливы летние и сливы осенние и громадная, до самой улицы доставшая ветвями, черешня, были яблоки, что поспевали в сенокос и утоляли нашу жажду на Ясеновой, и были большие, красные — их дед откладывал на зиму, и нам, детям, они казались зимней ска́зкой и привадой из привад... Но больше всего манила меня в дедовом саду высокая старая груша. Родила она небольшие, но на диво вкусные плоды, и каким же счастьем казались мне те минуты, когда я крадучись забирался в сад и, забывая обо всем на свете, собирал те грушки и поедал их. Ну а как же оно могло иначе быть? Разве могли нам даже присниться крупные, желтобокие, сладкие и ароматные, разных сроков вызревания и разных форм груши — плод человеческого, щедрого в поисках, способного творить чудеса труда? Для меня в пору моего детства лакомством были даже терпко-кислые груши-дички со склона, недалеко от родной хаты. С того самого склона, где росли дикие черешни, по осени краснели боярышник, шиповник и калина. Так, бывало, наешься в лесу тех дичек, что горло как клещами сцепит и дышать не дает, а в саду деда Петра были настоящие груши. Не потому ли всегда я по доро́ге в школу и со школы заглядывался на дедов сад, готовый в любой миг скакнуть через огорожу!

Как-то одним воскресным днем подался я из церкви поскорей домой, чтобы все ж таки махнуть в дедов сад. У огорожи постоял, но колебался недолго. Остановился под грушей. Трава была рослая, холодная: прошел дождь, дул осенний ветер. Груш нападало много-премного. Да только съел я одну-другую, только наложил за пазуху — так вот и поныне чую, как холодили грудь, — как разом будто колотушкой огрело меня через весь хребет.

— А чтоб тебе сырой земли наесться! — что-то простонало за плечами.

Я похолодел и остолбенел. Передо мной с разведенными руками стояла бабушка Петриха.

— Так это ты мне, черт лукавый, траву пришел топтать?.. Да я тебе таких грушек надаю, что камнем у тебя встанут... — все кляла меня баба, а я уж и не знаю, чего тогда больше напугался — удара ли, проклятий или просто бабушкиного появления. — А ну, чтоб и духу твоего... А чтоб вас... — следом за мной катились бабушкины слова, когда я лез через огорожу, придерживая все ж таки левой рукою в пазухе кое-какую свою добычу... Не все же из пазухи просыпалось, коли достала меня баба кулачищем.

— Это была самая старшая мама в Дубовом! — сказал про бабку Федориху мой батько, когда она умерла...

Мы долго сидели молча. И думали... Мы думали о ней, такой незаметной, такой неказистой на первый взгляд. И такой всегда озабоченной и всем на свете встревоженной. Словно в огненных колесницах, проносились в нашем воображении года, и видели мы ее в разные поры года: в будни и в праздники, во всем, чем жила наша большая семья.

И точно, разве не прав был мой батько? Потому что не было ни одной такой бабы в селе, которая столько бы прожила и столько успела бы сделать, как мама моей мамы. Столько у нее было внуков и правнуков — их бы на небольшое село хватило! Вот потому и сказал отец про нее, как про самую старую, самую достойную и уважаемую маму на все Дубовое.

Она была воплощением доброты и простоты. Только мы приходили к ней, тут же брала она большое решето и поднималась на чердак. Из своих тайников и припряток набирала сушеных груш, лесных орехов и спускалась к нам с гостинцами. Разве нам могли тогда вообразиться подарки лучше, заманчивей? И разве в том дело, что дарят? Дело, я уверен, в том, как дарят. А наша бабушка по маме одаривала нас всегда от искреннего и бесконечно щедрого сердца.

Жизнь у нее выдалась нелегкая, и многотрудных дней хватало. Потому что она не только трудилась от ночи и до ночи, приводила на свет детей и растила их, не только умела печалиться о том, что вовсе, казалось бы, ее и не касалось. Такой уж она была по своей натуре! Как же волновалась она, когда сводили со двора проданную корову. Покупатели уже возились около

скотины, дед давно уже получил деньги, стоял без шапки перед хлевом, как бы воздавая этим в последний раз почет кормилице-поилице. А баба ходила сама не своя и места себе не находила. Словно кто-то родной и близкий уходил из дому и жизни без него не представлялось. Она вообще была против того, чтобы скотину из хлева продавать, коли скотинка эта честно привела на хозяйство целую череду бычков и телочек, коли от нее столько было надоено за годы молока, что не вместили б его и в берега Тересвы. Баба за то была, чтобы коровка доживала свой век на сытых яслях, на заслуженном покое до остатка дней.

Что тут скажешь?

ИВОЛГА

Слышу птичье пение, похожее на диковинный свист и медный звон...

Люблю, когда поет иволга.

Она берет меня на свои крыла, уносит в детство...

Недалеко от нашей хаты, на склоне росла уже немолодая ольха. Как-то, когда мы возвращались из странствий по округе к дому, брат заметил на вершине дерева гнездо. Мы долго сидели, глядя вверх из-под дерева: что ж это за птица — в диковинном, как будто золотом оперенье — выпорхнула из гнезда и закружилась в воздухе. Такой мы прежде не видали. Стали мы гадать, что, верно, в гнезде сидит другая, а эта караулит будущий выводок и, может, той, которая на яйцах, носит еду? Мало ли до чего доходила наша фантазия!

— Надо залезть да поглядеть... — сказал брат так, словно предстояло нам открыть целый новый мир.

Молча полез я на дерево. Было тяжко, потрескавшаяся старая кора царапала и обдирала голени, руки. Да разве же можно было показаться неловким? Разве можно было остановиться? По нашим, мальчишеским, законам это было бы недостойно!

Потихоньку выше, выше, перебираясь с одной ветки на другую, весь превратившись в напряжение и осторожность, я ухватился за ствол в ветвистой кроне и приник передохнуть. Ноги обмякли, руки обессилели. Все тело охватило какой-то странной вялостью и слабостью.

На горизонте голубое солнечное марево палящего дня, из зелени садов выглядывают крыши, серебрится лентой река. А еще чуть-чуть повыше к небу — тут уже и птичье гнездо.

Осторожно подкрадываюсь к гнезду. О диво! В нем сидит птичка, какую, верно, никто и никогда не видел близко. Зеленоватый и ярко-желтый цвета переливаются, головка и крылышки расписаны ну словно в сказке. Я глянул вниз, на брата, и чуть было не вскрикнул от радости, да вовремя сдержался. Спугнуть птичку — дело нехитрое. Уж не знаю и сам, зачем, верно, в забытьи, я потянулся рукой, чтоб хоть погладить чудесную птаху в гнезде. Да только дотянулся до нее пятерней, как она вспорхнула. Тревожно закричала, закружила вокруг вершины дерева, как будто зовя на помощь все пташье братство нашей зеленой округи.

— Улетела? — спросил брат из-под ольхи.

— Улетела, — разочарованно ответил я.

— Слезай скорей, а то яички в гнезде остынут и замрут... Птенчики не выведутся... — брат приказывал. Я и сам знал, как мама всегда боялась, коли квочка кидала гнездо и долго крутилась по двору, как выговаривала неразумной и сомневалась, будут ли цыплята...

Я быстро спустился с дерева. Мы еще посидели в зеленой засаде. Брат ждал, когда ж иволга воротится, усядется в гнезде. Я плевал на руки и потирал их — горели от ольховой коры.

Птица не прилетела.

Мы ей мешаем... «Хитрая, небось видит нас под деревом», — догадался рассудительный брат Петро. И мы пошли прочь от дерева, чтоб из кустов следить за кроною ольхи. Должна ж над нею закружиться иволга! Только когда мы снова увидали большую желтую птицу над гнездом, пошли спокойно до дому.

«Погодь, погодь! Вылупятся птенчики, дадим им подрасти. А там возьмем-таки парочку в клетку! Вот будет радость! То-то хлопцы со всей округи подивятся!» — тешили мы себя надеждой.

Проходили дни за днями.

Как-то ясным утром я снова вскарабкался на дерево. В гнезде и вправду тулились друг к дружке голыми своими неуклюжими тельцами птенчики.

«Пускай их еще покормят... Пускай подрастут!» — думал я, когда спускался вниз.

С тех пор я часто-часто забирался на ольху. Знал на ней уже каждый сучок, каждую ветку. Когда нам показалось, что птенцы уже и хорошо оперились, и прокормиться смогут чем попало, я поднялся к гнезду с твердой целью. С минутку полюбовался выводком, представил себе всех хлопцев, какие к нам придут, подумал и про клетку — ее у нас не было. Ну, не беда, сколько-то побудут птенчики в наскоро сбитой из дощечек коробочке. Только б добыть их из гнезда! Да как же распознать, чтоб парочка? Вот загадка!

Будь что будет!

Протянул я руку к гнезду, а птенчики точно им кто-то подал знак, дружно вспорхнули. Как-то неумело, неловко кувыркнулись в воздухе, но тут же, трепыхая крылышками, расселись по соседним деревьям, тревожно попискивая, словно сзывая всех на семейный совет.

Порожнее гнездо осталось на ольхе покинутым поневоле кровом, и было в этом что-то неправильное, даже бессмысленное... А птенчики где-то попрятались....

И я торопливо ушел, чтоб не пугать больше беззащитных птах.

БЕГУНЦОВА ЧАЩА

Это был такой маленький буковый лесок, как и на пригорке, недалеко от нашей хаты...

Когда весною зеленел он молодым листком, уже было теплым-тепло.

Каким-то дивом сохранились большие буки среди садов и огородов нашей округи на крутом западном склоне горы — высились кудрявым гребнем на фоне лазоревой дали. Бегунцова чаща — так называли ее все, потому что хозяином его был наш дядько — Бегунец Василь. Знали мы его как доброго косаря, как молчаливого и мудрого, всегда вежливого, находчивого в слове, трудягу из трудяг.

Еще, наверно, и потому казался нам он рачительным хозяином, что этот свой лесок сберегал и любил, как любят все прекрасное на свете. Долгие лета нужны, чтоб выросло дерево, чтоб зеленело и удивляло красою весен, осеней и зим, и одного какого-нибудь часочка хватит, чтобы упало великаном оно на грудь земли и чтобы плакала по нем сама мати-земля, напрасно питающая корни...

Бегунцова чаща была красой нашего верховинского села!

И в ней наш дядько Василь и вправду был поэтом-творцом на Бегунцовом поле, с которого началось мое познание живой природы.

Еще и лист не зеленел, еще только набухали почки, а лесок гудел уже пчелиными роями, потому что росла в этом лесу огромная верба. Таких пушков, таких «котиков», как на этой вербе, не пришлось мне больше видеть. Большие, желтые, душистые, они перед пасхой как будто чистым золотом светились. Красивая, гордопышная верба стояла меж дерев на склоне, как щедрая красавица, собравшая на вече вкруг себя подруг, чтоб рассказать им про весну-красну, про птиц и теплые края, про теплые полонинские ветры и ласковые дожди... В солнечные дни целые пчелиные рои прилетали к ней — вот уж где хватало цветов для медосбора. Батько наш, бывало, поднимется на вербу, нарубит коротких веток-однолеток, чтобы в вербную неделю перед пасхой освятить, — никто в церковь не приносил таких нарядных и красивых веток, как наш батько из Бегунцовой чащи. И этим тоже могла гордиться чаща!

С самой весны и до поздней осени немало я находил всякой всячины в лесу. Грибы сыроежки с терпким молочком, ежевика и дикие черешни, лесные груши и орехи, ягоды шиповника и черного терна, калины и боярышника — все, все тут было в изобилии, все радовало красотой.

А что ж это была за сказка — притаиться под толстым, поросшим седым лишайником и зеленым мхом стволом бука, выглядывая пташек в кронах, слушая их пение!

Все тут жило своим потаенным и таким загадочным бытием весны и лета!

А когда наставала пора дождей, можно было в лесу слушать шелест крупных капель. Коли дышал еле заметный ветерок и ветки колыхались — капли спадали с листа на лист обильно, щедро, а как стихнет все — и капли шелестят размеренно, степенно.

Осень стелила под деревья пушистый ковер и расчерчивала небо оголенными ветками. Тут и там висели еще помутневшими медяками листья, но только чуть подует ветер — срывались и, кружась, стелились по земле. Стелились с еле-еле заметным шорохом, и в этом тоже была чудная красота, была своя жизнь.

Верно, вот эту песню про красоту лес пел и своему хозяину, потому что, какими бы скупыми и бедными на заработки ни выдавались годы, дядьке Василю и в голову не приходило продать тот лесок на дрова. Какими бы холодными ни приходили зимы к нам с полонин да высоких гор, никто и никогда не помышлял податься к бегунцовскому леску, чтоб украдкой срубить себе там дерево на топливо.

И в этом была своя добродетель, был освященный веками закон.

Вот потому-то и белел лесок зимой громадными шапками снега на ветвях и убирался в иной год так, будто на великий праздник выряжался... И нам уже казалось, что тот лесок не только что живет, но и чувствует, думает, понимает... Что и сам он знает цену своей красоте.

Всегда, всегда, как только я возвращался домой, в родимый край, поднимался к леску на склоне. Поднимался, чтоб поговорить с самим собой, чтобы упиваться далекой лазоревой далью над отцовской обителью. Навеки в душе моей щедрый зеленый шум, осенний золотой гомон, сказочный зимний иней букового лесочка недалеко от родной хаты.

СОСЕДИ

Их у нас было много! Разве скажешь про всех?

Мы были бедными, оттого и в памяти лучше всего живут именно самые бедные наши соседи.

У бабки Семенихи были четыре дочки, а из них старшие — Анна и Мария. Захлопоталась с ними бабка. Вот уже и заневестились, и какие-никакие женихи появились, а счастья настоящего все не было.

Когда Анна вышла за Ферка с Брустур — в Дубовое пришел он в примаки (так говорят про того, кто живет в доме жены), взялись молодые строить себе хату на взгорке, повыше Бегунцовой чащи.

Приземистый, одноногий, в смушковой шапке корчмарь как-то после вечерни спросил в разговоре Ферка:

— А ты что, на Голгофе живешь? — и показал корчмарь рукой в ту сторону, где уже серела поставленная бедная хата.

— На Голгофе! — только всего и промолвил пришлый Ферко Федаков и смущенно замолк.

И правда! Не чем, как Голгофою, стала тощая да убогая межина для Анны и Ферка невдалеке от нашей усадьбы.

На полонинку (так назывался клочок земли, выданный молодице в приданое) — дерево для сруба носили на плечах. Была поздняя осень. На вязкой, топкой земле по склону скользили, падали, ушибались, ранились — какую ж еще Голгофу можно было придумать для них при таком начале семейной жизни? Всем гуртом несли селяне нашей округи на полонинку содранную со старой хаты и разъятую на части кровлю. Когда сильные мужики медленно взбирались с ношей по крутому склону, казалось, что то неторопливо ползет на гору диковинное чудище.

Наконец хата соседки Анны и примака Ферка была сложена, наконец задымила над ней, закурилась легонькая тучка — примета жизни. Значит, развели в хате первый огонь.

Да не успели захозяйничать, не успели поставить огорожу, посадить первое деревце и привести хотя одну-единственную животинку — козу, как народился маленький. Помню те вечера, когда мама наша доила корову и посылала меня к Федакам с кринкой:

— Неси, голубчик, молочко бедным людям... То не грех, коли молочко для чужой малой дитяти... — поучала меня мама, бросая в молоко маленькую щепотку соли, — мне ведь было через ручей переходить, и тут уж без соли никак нельзя, а то, глядишь, все молоко прокиснет.

Я выбирался вверх по склону к Анне и Ферку, когда над полониной трепетали первые вечерние зори, а село мигало огоньками каганцов в окнах. Как-то и вправду странно было глядеть с Ферковой полонины на наше село — огромное, раскиданное не только по широкой низине, но и по близким и дальним околицам. Вдали, над хатами и над застывшими, почерневшими садами самоуверенно и гордо возвышался купол кирпичной церкви, белой жестью застывали и белели деревянные церквушки... Кругом было тихо-тихо, и от этой немоты как-то даже страшно становилось... Я поскорей торопился к хате.

Анна радовалась, как только я переступал необычно высокий порог хаты. Но только ставила она порожнюю кринку на лавку, я тут же спешил домой. Какая-то не-

видимая сила побуждала меня бежать быстрей, я даже оглянуться боялся. Одинокая хата на горе почему-то пугала серым срубом, непомерно высокой черной крышей с белыми полосками там, где вшивались дранки-заплаты, маленькими черными глазницами оконных стекол.

От недостатка да недогляда ребенок у Федаков прожил недолго. Люлька висела на крючках недвижно — ее не успели снять и вынести на чердак, а в гробу лежал маленький Микулка. Обложенный цветами и пахучими травами, он несомкнутыми до конца глазенками укоризненно глядел на этот жестокий мир. Над ним стояла заплаканная и горюющая Анна. Анну кто-то из женщин утешал: короткий век был у маленького Микулки и безгрешный, душенька его полетела с полонины ангелочком прямо в царство небесное к самому господу богу. А я, стоя у порога, слушал эти утешения и думал: а ведь оттого, что полонина высоко над низиной, то и до неба путь Микулкиной душе короткий, легкий...

Немного лет прошло, Анна, бедняжка, умерла. Осиротевшая светловолосая девочка ходила после нее по людям — где хлеба ломоть дадут, где молоком напоят. Что набедовалась, изголодалась! А Ферко больших печалей да забот себе не причинял. Женился снова. Пошел примаком в село, через горы, в Терешел. Запустела, захирела Феркова полонина. Долго стояла на ветрах замертвевшая хата. Не взвивалась над нею тучка сизого дыма, не светил поздними вечерами в оконцах подслеповатый каганец. Возвращались ли мы с покоса, пасли ли недалеко коров — мимо хаты никогда не проходили. Боялись. Прошли годы. Хату на полонине разобрали — одно только нечище осталось и насыпь.

На том месте, где был огородец, долго еще зеленел куст роз, цвел простенькими цветами до самой осени. Обнимая его сплошной стеной, дичал и прорастал травою под кустом барвинок. Цветущий синими крестиками цветов барвинок. Его посадила Анна в первую же осень, как поселилась на полонине. Хотелось ей, бедняжке, чтоб у хаты была и красота...

Полонина-Голгофа лысеет тощей землей, порастает пыреем и дикою неприхотливою травою...

Давно уже одичал и зачах розовый куст. А от барвинка и следу не осталось...

Чудно́е уличное прозвище было у нашего соседа Дмитра Магулы — звали его Фанагой. Отчего так, никто на нашей околице не знал. Магула был первым нашим соседом.

Чуть только на склонах таяли и оплывали снега, чуть пробивался первой зеленью побег разбуженной земли, так и тянуло нас к живой изгороди на участке деда Фанаги. Мы приникали к ней, выискивали щелку. И любовались подснежниками в саду. Весь он синел ими, и зрелище это приманивало, заколдовывало нас.

Наконец кто-нибудь из нас пробирался через огорожу, чтоб добыть хоть один цветок. Срывал — и тут же наутек; страх, что дед Фанага поймает нас в своем саду, был очень велик. И не оттого, что он сам накажет нас, а потому, что наше злодеяние стало бы известно отцу. А тут уж пощады не жди!

Так нам хотелось, чтобы подснежники цвели и в нашем саду, поблизости от хаты. А их тут не было. И мы не знали, как их развести.

Дед Магула был человеком, спасшим нашу хату.

Зима выдалась лютая. Печку мама топила щедро, чтобы мы все не померзли и не захворали. Было где-то около полуночи, когда вдруг из дымовой трубы упали на припечек горящие угли. На маме лица не было: глянула в дымоход и увидала, что он горит. Горит в середке — плетеный был, из жердин, и вымазанный глиной. Как видно, глина облупилась, осыпалась, жердины прогрелись и занялись огнем.

Мама не стала кричать, бить тревогу — верно, боялась нас перепугать. В чем была выскочила из хаты. Прибежал запыхавшийся, переполошенный дед Фанага. Взобрался на чердак, долго там топотал. Мама носила ему воду. Огонь погасили. Счастье, что пожар дал о себе знать в самом начале. Счастье, что глина осыпалась только в середке дымохода. Коли бы с краю — огонь мог охватить стропила, крышу...

В ту ночь мы мерзли. Меньших мама поукрывала всем тряпьем, какое только могла собрать, старшие жались друг к дружке, чтоб как-нибудь согреться.

Мама была напугана и долго не засыпала. Верно, одна она хорошо понимала, что могло статься с нами в ту ночь. Мне было ужасно холодно, зубы стучали как в лихорадке. Мама гладила меня по голове и приказывала забыть про все страхи и заснуть. А сон не приходил...

Без огня наша хата стала какой-то неприветливой, холодной, как будто кем-то обворованной.

Утром дед Магула пришел, чтобы навести порядок. Прорубил круг дымохода доски в потолке, обложил отверстие саманом, обмазал глиной. Долго колдовал и с самим дымоходом. Задымленный, запыленный, заморенный работой, он показался нам необычно приветливым и добрым. Мы уже думали, что больше никогда не будем лазать в сад к нему за подснежниками, что не позаримся на грушки с того дерева, что росло у него над хатой. Долго он умывался, мыл руки, лицо, мама сама сливала ему теплую воду из горшочка перед порогом хаты во дворе, сама подавала конопляный чистый рушник. Неторопливо растирал распаренное лицо, узловатые тяжелые руки. Когда отдал маме рушник, она позвала его в хату. Зашел. Я внимательно приглядывался к нашему доброму соседу. Он теперь казался мне совсем не таким, каким был до пожара. Большое лицо с длинными вислыми усами было словно из меди вырезано: летний загар через всю долгую зиму держался. Недаром дед целыми неделями косил травы на полонинах, оставался до глубокой весны с животиной.

Мама налила большую кружку цельного молока и пригласила деда Магулу к столу. Надо ж было хоть чем-ничем угостить благодетеля, и разве ж могло прийти на ум, что не молоком — горилкою гоже было попотчевать? Нет, не горилкой! Нет на свете краше угощения, чем кружка вкусного молока! Да еще для такого «пожарника», каким был дед Дмитро Магула!

Утирая губы рукавом, дед поблагодарил и сокрушенно проговорил:

— Остерегайся, Василина, огня!.. Огонь страшней воды... После потопа еще кой-что найдешь, после огня — серый пепел...

ШЕЛКОВИЦА

Она росла под окном у нашего соседа Юры Рарича. Хозяина усадьбы с шелковицей звали еще Писариком. Почему именно такое канцелярское прозвище у нашего соседа было, мы не знали. Может, в наследство перешло от деда-прадеда... А может, кто-то когда-то в роду старых Раричей и зарабатывал себе на хлеб, корпя над бумагами. У самого же Юры Рарича были сыны и

дочки, однако ни канцеляристов, ни деловодов в семье не было, сам же он и собственного имени написать не мог.

Молчаливый и суровый, с вечно опущенной головой, высокий и сутуловатый, дед Рарич был точь-в-точь разбойник. Не помню, чтоб он говорил — только кричал. Стоило только козе перескочить через межу на дедово поле, как слышался грозный от хаты окрик. Мы тут же бежали за козой и заворачивали ее на свое поле. Верно, через эту дедову суровость и бабуся Раричка нестарой еще подалась в монастырь, стала монашкой.

Дедова хата стояла в заболоченной низинке при дороге, недалеко от нашего участка и всегда была наглухо заперта. Были у деда наделы да выгоны на околицах села, там он пас скотину, косил траву и сушил сено на межинах, по кошарам, выращивая кой-какой урожай. На подворье он возвращался поздней осенью. А до тех пор хозяйничали тут невестки да дедовы дочки: окучивали на ниве картошку и кукурузу. Но все равно мы опасались деда Юры. Он как будто из-под земли выныривал и кричал во все горло на детвору, как только кто-нибудь ступал на его участок.

А как же манила нас дедова шелковица. Нигде другого такого дерева не было, и сама необычайность его ягод была для нас неотразимо привлекательной.

Только поспеют ягоды — большие, продолговатые и вправду сладкие и сочные, — часами сторожили мы у дедовой изгороди, чтобы ими полакомиться.

Желание поесть шелковицы было так велико, что мы попросту забывались, ничто нас уже не могло удержать. Прыгали через огорожу, собирали ягоды, вытаптывая лук, чеснок, морковку... Приходя на воскресенье в село с сенокоса, дед, правда, виновных не искал, с соседями не ссорился.

Одной весной дед шелковицу срубил. Долго сочился пень густою красною сукровицей. Это земля давала силу корню, а силе той некуда было деваться. Потом порос пень молодыми побегами, и мы уже думали, что минет время — и снова станет родить шелковица... Да нет! Дед Юра и ветки обломал...

Прошли года и даже следа от удивительного дерева на околице не осталось... Того самого дерева, что дивом выросло на усадьбе деда Рарича, что открылось нам в детстве такой печальной загадкой.

НАНАШКА

На диво ласковы и мягки те слова: «нанашка», «нанашко». Не крестный отец, не крестная мать, а именно «нанашко» и «нанашка». Что-то в них от ласковых, сердечных, таких для нашей певучей речи характерных слов — «мама», «неня».

Но уж извините, совсем не все равно, у кого какая нанашка! Если настоящая — добрая и заботливая, с теплом материнского сердца и щедрости, — ею всегда гордятся. Всегда помнят, что на свете не одна только родная мама и родной отец, а еще кто-то, совсем-совсем близкий и дорогой, кому можно и многое доверить, и вверить то, что в самой глубине души таится... Вот почему с давних давен в каждом селе на Верховине нанашками были лучшие, достойнейшие люди. А тех, у кого была худая слава, кто возлюбил корчму и на чужое зарился, никто и никогда в нанашки не приглашал.

Стройная, чернявая, всегда с печальными глазами, моя нанашка Василина Рущачка жила при том ручье, через который много лет ходил я в сельскую школу. Все лето напролет алели на крыльце моей нанашки цветы. Они украшали хату и осенью. По воскресеньям и в праздники ходила нанашка в красиво вышитой сорочке, вышивала, как мало кто в селе. Такую же белую вышитую сорочку принесла она и мне.

Стою на столе. Меня одевают. Так, непременно на столе, всегда одевали крестников, и, верно, обычай этот шел от давнего поверья: стол — знак богатства и щедрости, людского великого добра и сердечности. Так пускай переходит со стола на человека все, что есть лучшего на свете, пускай все будет у него на счастье и на радость другим людям. Вот потому-то одевать детей на столе за грех не почиталось.

Оглядываю и ощупываю белым шелком вышитую рубашонку, нравятся мне длинные каемочки на поясе. Таких мне моя мама еще не вышивала, не делала. Сразу чувствуется что-то необыденное, праздничное.

Нанашки пили красное недорогое вино из кружек. Ни стаканов, ни рюмок — что тут говорить о каком-нибудь дорогом сосуде для угощения! — мама в хате не держала. И нам всем это как-то ни к чему было — богатство наше заключалось совсем в другом. Потому что и представление о благосостоянии связывалось с другим...

Я сидел под окном, выходящим на огород, и зачарованно смотрел, как взрослые угощаются. А угощались они так, словно пили лишь по обычаю — так, мол, уж повелось... Кому-то пришло на ум, что надо было бы и самого крестника попотчевать. Что тут сказать? Про вино я слышал: про вино и в колядках, и в колымийках пелось, рассказывалось в сказках, да еще немало говорилось при случае между селянами — оно ведь на Верховине не столько радости-веселья приносило, сколько с злосчастием связывалось... Ну, хотя бы с тем, коли селяне выбирались в далекие края на заработки и напивались с горя, чтоб позабыться и душу отвести.

Нанашка налила в кружку вина:

— Пей, Иванко!

— Не надо, кумонька!.. Хлопец добра этого еще и в рот не брал, ему нехорошо будет... — словно предчувствуя неладное, вступилась мама.

Я не решился взять кружку в руки.

— Эх, кума, дорогая! Пусть выпьет чуточку... ничего ему не будет. Только полакомится хлопчик, — успокаивал маму нанашкин муж и тут же сказал: — Пей, сынку, надо ж тебе знать, что это за штука — вино... От красного кровь завяжется да сил прибавится — ну как разбойник станешь!

Эти слова прибавили мне храбрости, а мамин добрый взгляд как будто дозволил потянуться к кружке. Первый глоток показался на диво терпким, по вкусу непонятным, но тайна хранила взаправдашнюю силу чуда — вино пилось!

— Ну-ну, сынок, с одного маху не надо, — предупредил батько. До этого он только словно бы наблюдал за всем, что делалось.

Кумовья беседовали, было шумно и приветливо в нашей хате на околице села. В голове у меня шло кругом, и я не понимал, что это со мной делается. То хотелось мне побежать по полю так быстро, как никогда еще не бегал, то силами помериться с соседским Дмитриком — с ним не раз мы схватывались в овражке.

Важно и благоговейно, точно свершая торжественный обряд, мужчины и женщины закрестились, как только с церковной колокольни раздался звон. Воздух летнего дня был ясным и прогретым солнцем, и звон от этого казался особенно звучным и свежим. Медлить было грешно, хоть вино и оставалось недопитым — кумовья спешно стали собираться к вечерне.

— А теперь, сынку, в церковь! — Большой цепкой рукой притянул меня к себе нанашкин муж, будто и взаправду вечерняя служба не могла бы состояться без меня.

Ладно мне было б догадаться, что творится. Голова отяжелела, а бодрость в теле разгулялась. Верно, она-то и не дала мне храбрости сказать, что в церковь не пойду, останусь дома.

Хорошо помню, как кумовья пошли себе тропинкой между наделами от хаты, как громко разговаривали, словно хотели что-то один другому доказать. За ними ковылял и я, стежка казалась мне такой узенькой, как никогда прежде, босой ногой я попадал мимо дорожки на ниву. Кумовья шли себе ладком, я же петлял за ними и выписывал чем дальше, тем более затейливые узоры. Правда, никто этого не видел, и коли б я это понимал, то, верно б, радовался, что никто не видит...

Мы были уже в конце нашего поля, пониже нивы, завернули по дорожке к соседям. К тем самым соседям, что жили в соломенной хате целой кучей овдовевших и незамужних баб и находили тысячу и одну причину, лишь бы затеять скандал. Миновать этих пакостных баб было нельзя: дорога к улице и селу пролегала мимо.

Вывязывая хитромудрые крюки через саму межу — тропинку бабы оттеснили колючей проволокой на самый край участка, — дошли до лужи, довольно-таки широкой. Ловкие длинноногие взрослые взяли это препятствие с ходу. Мне же надо было прыгать. Только взял разгон, только пальцами левой ноги нащупал опору, как скользкая земля как будто качнулась подо мной, и я бултых прямо в лужу. Только когда в воде плеснуло, кумовья оглянулись.

Я встал и оцепенел. Так мне хотелось плакать. Моя новая, вышитая шелком руками самой нанашки Василины сорочка!

Разве могло быть в этот момент что-либо горше? Разводя опущенными руками, будто белыми крыльями, стоял я и не знал, что делать.

— Пускай пойдет хлопчик домой! — Ласково, успокаивающе погладил меня по голове нанашкин муж.

— Видно, не пошло малому впрок вино, — сокрушалась нанашка, покачивая головой, словно готова была укорять себя и каждого, кто позволил мне испробовать вина.

Я воротился в хату...

От того злосчастного воскресенья минуло не так уж и много лет. В самый сенокос пришла к нам весточка, что нанашка умерла. Переступив порог хаты, на длинной лавке у стены увидел я необычайно вытянутую свою нанашку Василину. Длинные пальцы ее рук лежали сложенными на груди, щеки ввалились, подбородок заострился.

— Гляди, как смерть ее всю вытянула... — шептала у печки пожилая женщина со сморщенным лицом, показывая потухшими глазами на лавку.

— Так ведь и смертушка у ней, бедняжки, тяжелая да горькая была, — проговорила другая, держа у носа жгутик мяты.

Нанашка была обложена полевыми цветами и пахучими травами, вышитая сорочка белела рукавами.

Белая вышитая шелком сорочка. Кружка красного вина. Дорога от хаты и эхо звона с церковной колокольни. Клочок лазоревого неба в озерке дождевой воды и удивленные кумовья... Все, все возникало передо мною, а при всем этом моя добрая нанашка Василина. Это она ведь одевает меня, застегивает сорочку на шее, и я слышу, как пахнут полем ее руки, такие же руки, как и у моей доброй мамы... Тут уж мне и вовсе не понять, что не поднимется нанашка Василина с лавки, что я не увижу ее перед той хатой, что красовалась выращенными нанашкою цветами.

Дороги мои в Дубовом к родному дому всегда шли мимо нанашкиной хаты. Пускай давно уже ее не было в живых, а я все видел ее в своем воображении. Как несла охапку сена овцам в кошару, как поливала на крыльце цветы, копалась в огороде. А то и просто стояла перед хатою, дивилася на улицу. Такой живет она для меня и ныне...

БРАТ

В сенокос мама оставляла нас у бабки Федорихи. Бабка жила близ улицы, по которой текло все живое на колесах из Дубового в Усть-Черное, и даже дважды на дню катилась автомашина — развозила почту из села в село. На бабкином участке для нас открывались новые, отличные от знаемых миры...

Наша родная хата стояла на околице села. Тут нам зеленели поля, цвели сады, шумел в дождливую погоду лес. Тут маленькими солнцами желтели нам подсолнухи по краю нив, шелестели овсы и жита колосом.

А приходила осень, колокольчиками позванивали овечьи отары. Малой колыбелькой покоилась наша хата на лоне природы. И мы в ней не просто нарождались, в ней мы вырастали, вбирая в сердце, в естество свое чары цветущего поля и таинственного леса, песенность верховинских весен, звонкость лета и щедрость осени, зимнюю сказку.

Бабусина хата нам поведала новые тайны, и все уже представлялось по-новому. Фантазия наша распускала крылья, и, верно, оттого рассказывали мы себе новые сказки.

Недалеко от бабусиной хаты стоял обыкновенный телеграфный столб. Мы прикладывали ухо к столбу и вслушивались в гудение проводов, когда дул ветер. Никак и ничем мы не могли объяснить себе этого чуда. А когда в летний солнечный день было тихо-тихо, мы брали каменюку и стучали по деревянному столбу. Провода откликались шумом, кто-то из нас бежал до следующего столба, прикладывал ухо и слушал. А еще кто-то бежал дальше, и казалось нам, что там, далеко в Усть-Черном, а может, в самих Брустурах, нас слушают и слышат. И мы выкрикивали, кого-то окликали, про что-то свое детское и наивное рассказывали. Жаль только было, что нет телеграфных столбов по склону Ясеновой, где косари косят траву, а мама сушит сено. Если б были туда столбы и провода, мы с мамой и с батьком могли бы побеседовать, вот прямо-таки отсюда, от бабкиной хаты.

Мы рассказали б им про то, что нам у бабки Федорихи очень хорошо, но еще лучше было б, коли управились бы с сенокосом поскорее да и пришли домой.

Мы любили бывать у нашей бабуси. На участок к ней собирались соседские дети. Бабусина дочка Олена играла с нами. Садик, большой хлев, глубокий колодец, из речного камня сложенный, с лазоревыми лоскутиками неба далеко под землей, навес, под которым держал дед различный инвентарь: телегу, борону, луг.

Чердак хлева и сама улица пред хатой — все-все казалось полным таинственности и развлечений. Что там, куда там разным детским площадкам с нуд-

ными и однообразными затеями да диковинами для потехи?! Вот мы так забавлялись, потому что умели находить себе забавы в любом нам незаметнейшем предмете.

Чего стоил один только дедушкин воз под старой на двух опорах крышей? Заберемся кучей, усядемся, свесим босые ноги, кто-то помахивает кнутом, представляя себе коней, даром что из-под навеса торчит единственная длинная оглобля. Едем! Едем на дедушкином возе в край сказки, и вот уже мерещатся нам голубые дали, и открываются незнаемые новые миры. А чего еще нам нужно, а куда еще?

Вечером мама возвращалась с поля и брала нас на ночь домой. В каждой складочке одежды приносила из-под Ясеновой и высоких полонин ароматы трав и запахи сена и вся светилась радостью, когда мы припадали к ней и целовали ее. Как-никак, хотя и забывались на целый день в забавах и развлечениях, а стоило явиться маме, и всех нас как будто дивной радостью дарило, и так всем становилось тепло-тепло... В миг собирались и поспешали к нашей хате-колыбели, на околицу села.

Мы шли от бабушки. Был летний вечер. Мама несла на руках сестричку Христинку. Верно, нелегко ей было. Да что ж поделаешь. Измученной работой и дорогой от Ясеновой до бабушкиной хаты, ей нужно было еще сготовить нам поужинать, помыть нас и уложить спать. Торопилась, оттого, думаю, и забранила брата Петра, коли тот на фабричном поле упал и заплакал. Пошли все дальше — кто бы мог подумать про лихое. Думали, капризничает и тоже на руки хочет. Но когда брат увидел, что его на руки не берут, что мы уже вон как далеко, заплакал в голос, схватился на полевой дороге и заковылял, на одной ножке запрыгал, а другую поволочил за собой. И снова упал беспомощно. И снова заплакал. Мама поставила дочку на дорогу и вернулась за братом.

— Что с тобой, сыну?

— Нога болит! — Брат взялся ручкой за ножку, показывая ее маме.

Ощупала, вытерла слезы на лице, нагнулась к земле. Брат ухватился за мамины плечи, и понесла она его на закорках. Христинку тоже на руки взяла.

С этого вечера брат на ногу не вставал.

Надо было сразу лекаря искать, помочь брату, да где ж там было в простой крестьянской семье, в самый разгар сенокоса ходить по амбулаториям? Коли ходить по ним да очереди выстаивать, кто тогда скотине корму запасет?

На следующий же день снова заблестели на солнце косы, ложилась в ровные валки зеленая трава, веял горный ветер и пьяно пахло сено, когда его складывали вилами в пузатый стог...

Отец косил, мама граблила, варила косарям да сгребальщицам еду, а брат Петро уже не бежал за нами, а только ползал на двух руках. А увидит, что мы уже далеко, поднимается, бедняжка, и прыгает за нами на одной ножке...

Да к тому же припуталось к этой печальной истории веское слово деда Петра. Кто его знает, может, и полечили бы брата вовремя, коли бы не дед со своей категоричностью и твердостью:

— Это он камнем ушибся... Носит их нечистая сила!.. Не бойся, будет ходить!..

Камнем так камнем. А может, и вправду камнем... Коли так, то заживет, вылечится. Само по себе... Разве мало такого на свете было, что заживало, хоть и никакого лекаря не звали, лекарств не выписывали, мазями не мазали?.. Коли б всякий раз бедняку по докторам ходить! Чудо, что обещал дед, не сотворялось, даром что сам он был прославленным по всей округе чудотворцем.

Мама, бедняжка, должна была молчать. А батько все еще верил в чудо — он ведь всякому сказанному дедом слову верил. Верил и повиновался, как повинуются строгому закону. Батька был уверен, что сын ушиб ногу о камень, что пройдет немного времени, и все будет в порядке.

А порядка все не было да не было. Брат волочил за собою ногу, ползал по хате, по двору. Жаловаться и плакать он, верно, не смел: боялся, что не дадут ему играть, уложат...

Кончилось мамино терпение.

Ранним утром, когда мы еще спали, мама подалась на гору к Петру Иванцюскому — на селе он почитался искусным костоправом. Проснувшись, мы ждали, что мама вот-вот придет, а ее все не было. Пришла она, когда солнце было совсем высоко. Не одна. С ней в хату

вошел и знахарь. Среднего роста, с небритым лицом, в конопляной грубой сорочке и таких же домашнего изготовления штанах. Он подошел к брату и долго, деловито ощупывал его ногу, пока тот лежал навзничь на дощатой лежанке. Что-то прикидывал, мычал себе под нос, морщил лоб. Мама смотрела на Петра Иванцюского глазами, в которых застыла боль и беспокойство и теплился огонек надежды и веры. Мы жались друг к дружке, ждали перепуганно, что это будет с братом. Дед в это утро казался нам таким большим, огромным, а братик, сжавшийся в комочек на топчане в его руках, совсем маленьким — оттого-то и было нам так страшно.

— Дай-ка мне, бедняжка, клубок! — наконец велел дед так, будто одного только клубка обыкновенных ниток и не хватало брату для здоровья.

Правда, для чего клубок тот мог понадобиться, мы не знали, не знала этого и мама. Может, подумала, что это в плату за труды — мигом метнулась в большую комнату и принесла не один, а целых два большущих клубка.

— Да не, не! Ты, бедняжка, принеси мне поменьше клубочек... — И дед, сжав пальцы в кулаки, сложил их вместе и показал, какой клубок ему нужен. Мама снова переступила порог в большую комнату и вернулась с целой корзиной клубков, конопляных, паклевых, шерстяных, некрашеных и крашеных. Тут дед действительно мог подобрать себе единственный, необходимый ему клубок.

С клубком в руке дед Иванцюский подошел к брату. Присел на топчан, взял братову ногу и подложил под колено клубок. Сначала осторожно, медленно, потом сильнее и сильнее стал ногу наклонять и выгибать ее.

Брат заплакал, сперва как будто не от боли, скорей от страху, потом заголосил так страшно, словно живое его тело огнем жгли. Слезы полились ручьем, личико побледнело, потом посинело. Он задыхался, звал маму, а она, бедняга, стояла неподвижно.

Слова не вымолвила, прижала руки к груди, словно удерживала крик, что вот-вот мог вырваться и у нее. Не плакала, только провела ладонью под глазами, верно, прогоняя набегавшую слезу. Думала, что тут без боли не обойтись, что вот после всех этих мучений, на-

гибания и выгибания, брат поднимется и встанет на обе ножки.

Ничего этого быть не могло по той простой причине, что ножка-то у брата была не в колене покалечена, а в бедре... Можно представить себе, что ж это была за горькая и страшная боль, коли знахарь силою выламывал ногу...

Когда брат уже не кричал и не плакал, а только стонал обессиленно, обмытый слезами и весь мокрый от пота, дед Иванцюский распрямил его на топчане.

Сдается, все ждали обещанного чуда даже и после того, как брат на ногу не вставал. А откуда могло явиться чудо? С неба свалиться?.. Какая великая крестьянская наивность нужна была, чтоб надеяться на небо!..

Однажды сунула мама узелок за пазуху, надела на брата чистую сорочку, взяла его на руки и пошла к лекарю Голубцу — недалеко от сельской аптеки была у него амбулатория. Весь в белом, среднего роста, с маленькими усиками, лекарь взял брата и положил его на длинный белый топчан. Я держался за мамину юбку, а брат все поворачивал головку и глядел на маму так, словно боялся, что его тут, в амбулатории, оставят. Но лекарь и не подумал оставлять его у себя. Отругал маму и велел немедля ехать с братом в госпиталь.

Что было делать?

Надо было продать корову, распрощаться с нивкой, клочком покоса? Только как же без коровы при малых детях?

Вот потому-то оно и верилось в чудо. А когда не стало веры, стал батько добывать так называемое свидетельство о бедности — заверенное сельской нотариальной конторой, оно должно было открыть двери в больницу для бесплатного лечения. Пока туда, пока сюда, за тем, за этим немало дней прошло... Печальных и тревожных дней для мамы... Она, бедная, расстраивалась, хлопотала, покоя себе не находила.

Брат был отправлен в больницу в чужой далекий город. Там пробыл он почти до ранней весны. Когда вернулся домой, то говорил как-то чудно и непонятно. И сам он казался каким-то не таким. На ногу ступал осторожно, боязливо. Обещали в больнице, что все будет в порядке. И правда, чем дальше, тем уверенней вставал брат на ножку, и мама радовалась. И разве

не было чему? Да, верно, все бы было хорошо, коли бы не настала новая весна, новая пахота. На усадьбе появился дед Федор с большими волами, с возом и снаряжением для пахоты. И к нам пришла новая радость. Взобрались мы на воз, возились между грядками телеги. Поблескивал на солнце плуг, коли батько поворачивался в борозде, дед шел с волами, мама перед хатой снова цедила между пальцев золото семян.

Брат сидел на телеге, как сидят парубки, когда гонят коней в упряжке и хотят покрасоваться быстротой и ловкостью. Не было бы лиха, коли б неожиданно кто-то не толкнул его. Конечно, не со зла, нечаянно. Говорят — толкнула тетка Олена. Наша добрая тетка Олена — с нею вместе проходило все наше детство... Как он закричал!.. Прибежала мама, быстро понесла брата на руках в хату.

Нива была допахана, засеяна зерном, заборонована. Шла весна, работы было много. Верно, каждый знал, что после весны придут и лето и осень... Брат занемог не на шутку.

Не знаю, то ли снова отдались на милость божию, на этот раз уже окончательно, то ли снова надо было добывать свидетельство о бедности в нотариальной конторе... Но в больницу брат теперь не попал...

Жаль мне, до боли жаль невинного, такого доброго и такого мужественного брата!..

Солнце сентябрьского утра.

Сдается мне, что детство мое закончилось в ясный сентябрьский день 1928 года.

Когда уже спадала летняя августовская жара, когда травы были скошены, сено сложено в стога и копны, мама улучала какой-нибудь часок, чтоб поучить меня первым наукам. Брала она большой псалтырь, разворачивала его на первой попавшейся странице и показывала буквы. Не думаю, что проверяла мою понятливость и хваткость, что выявляла наклонности и увлечения в науках, — просто хотелось ей научить меня хотя б чему-нибудь перед школой.

Она тыкала шершавым, потрескавшимся от работы пальцем в большую заглавную букву, называла ее и заставляла меня громко повторять. Это было и вправду увлекательно. Мне казалось, что я открываю для себя новый, еще незнаемый мир, а маме — что в этот новый

мир букв уверенно и надежно вводит меня она. Как мама радовалась, когда уже молча показывала мне буквы, а я без запинки правильно их называл. Я был сосредоточен и устремлен так, будто сдавал ответственный экзамен. Никакая игра, никакой детский шум и смех не могли бы в те минуты оторвать меня от книги, от первой моей учительницы. Гладила меня по голове, и было это той первой наградой, что приохочивала меня к книге.

За несколько дней до сентября мы с мамой пошли в село. Наверно, она не просто хотела мне купить что надобно для школы, но и хотела, чтоб при этом был я сам. У лавочника Ислика долго выбиралась грифельная дощечка, хотя все доски были одинаковы. Может, на тех, что мама откладывала в сторону, находила она какой-нибудь изъян, а может, искала ту самую счастливую, которая не только подольше продержится, не разобьется, но и притягательно послужит для понимания наук. Когда дощечка с красными квадратиками на одной стороне и с красными линеечками на другой была куплена, мама заплатила еще за два грифеля — один для занятий, а другой про запас. Еще с вечера была приготовлена торбочка из домашнего полотна, совсем-совсем нового. Повешенная в уголочке под окна, она как будто и сама хвалилась тем, что завтра утром пойдет в школу. Были вымыты ноги, шея, уши. Мама сама проверяла усердие и обстоятельность, с какими все это было проделано, не только для того, чтоб ее не осудили, но, главное, чтоб я в полном порядке и блеске явился на учебу.

Утром почему-то мне уже не спалось так сладко, как в другие дни. Только вскочила мама, я ее услышал. И уже боялся заснуть, чтобы, не дай бог, не проспать школу.

Завтрак был готов. Мама заставляла меня поесть, но есть мне не хотелось. Батько сам готовился идти со мной. Он причесывал волосы, приглаживал усы — что ни говори, всегда, бывало, принарядится, коли надо было идти в село. Я стоял у порога и ждал, торбочка была повешена через плечо. Руку я держал на грифельной дощечке снизу, словно боялся, чтобы торбочка каким-то дивом вдруг не распоролась и из нее не выпал весь мой школьный скарб.

Дорожка вела между нив. Шелестела кукурузным стеблем с обеих сторон, провожала давно отцветшими подсолнухами, что важно, как задумавшиеся, склоняли вниз отяжелевшие головы. Вокруг этих голов раскосма-

тились тонкостебельные побеги-подростки с маленькими еще цветущими подсолнечниками. Из зеленой еще листвы выглядывали лысые макушки тыкв, свисали стручки желтеющей фасоли. Нива наполнила всю околицу удивительным ароматом, что так покоит, тешит хлебороба обилием добра.

Взволнованный, я и не заметил, как очутились на школьном дворе.

В вышитых сорочках, со школьными торбочками через плечо, по большей части босоногие, гладенько причесанные девочки, шумные мальчишки. Никогда не видел я разом столько детворы. Батько спросил, где учительница, и поспешил со мной в школьное здание.

В школе пахло олифой, и первое, что бросилось мне в глаза, — это дощатый, почерневший от олифы пол. Батько даже заколебался на мгновение — шагать ли по натертым половицам? Минутку постоял у порога. Потом подошел к учительнице. Молодая, с длинной косой, уложенной венком на затылке, учительница как раз открывала окна в классе. Солнце падало на нее, будто выхватывая ее из полумрака комнаты, чудно освещало и очерчивало стройный стан, а шелковое, еще по-летнему легкое платье — день был на диво теплый — будто только сейчас расцвело на ней всеми цветами щедрого верховинского края.

Я так и загляделся на нее — зачарованно и оттого, верно, смущенно, — тут же потупился и заметил, что от батьковых ступней на полу остались огромные пыльные следы.

Держа руку на оконном шпингалете, учительница обернулась к нам лицом, потом сложила ладони на груди, вглядываясь пристально в меня, будто желая знать, что ж это за школьник такой пришел. Я же видел одни только батьковы босые ноги. Учительница погладила меня по голове, взяла за лицо нежной рукой, чтоб я поднял на нее глаза. От смущения я не знал, что делать.

— Как тебя звать? — спросила голосом, приветливость которого забыть нельзя.

— Иван.

— Будешь, Иванко, хорошо учиться? Правда?

— Будет учиться, должен учиться... Учись, сынку, учись. Свет без науки — темная ночь!.. — вымолвил батько так, словно дома сказать этого не мог, а только в школе.

Они разговаривали. Про что, не берусь сказать. По-

мню только, как батько попросил, чтоб посадили меня на первую скамейку, чтоб, коли нужно, палки не жалели. И чтоб тут же, чуть я не послушаюсь, сразу дали бы ему знать. Он тогда сам за науку примется, а от той науки ох как горько будет. И еще сказал, как нелегко живется, как тяжко заработать хоть медный грош. А чтобы нам, детям, полегче да получше на свете жилось, надо с малолетства учиться.

Учительница попросила показать ей грифельную доску. Я живо вынул ее из торбочки, показал ей еще и грифель. Она улыбнулась и еще про что-то спросила батьку. Потом мы вышли из класса — до первого урока еще оставалось время.

Слышу беседу отца с учительницей в тот далекий сентябрьский день, когда она готовила класс к уроку, открывала окна для солнечного утра со светом и теплом...

Как первая большая и чистая любовь, живет она, первая моя учительница, всегда молодой и весенне-прекрасной, щедрой. Живут воспоминания о том неповторимом, ясном, что озаряет нас неугасимым светом.

Она учила меня в продолжение трех лет.

Я полюбил ее нежно, как только может мальчик любить действительно святое и великое. Иолане Тымкович — своей первой учительнице — обязан я не только первыми открытыми окнами в знания, не только доброй и радостной навечно памятью о сельской народной школе... Ей, именно ей я благодарен за первое пробуждение интереса ко всему прекрасному в сказке, в песне, в духовных сокровищах нашего народа.

Это было перед праздником.

Наша учительница была в том настроении, когда сам человек становится как праздник — красивым и возвышенным. На следующий день начинались каникулы. Первые зимние школьные каникулы. Всем на уроках было легко: учительница нам что-то веселое рассказывала, а после попросила мальчиков спеть. Среди нас были и переростки — разве ж на Верховине в то давнее время все начинали учиться с шести лет? Вот эти-то переростки и знали множество песен, как видно, на праздники ходили с песнями от хаты до хаты, по всему селу.

Хлопчики собрались кучкой. Пропели первую, вторую

песню, и в классе стало как-то необычно. Ведь в самих песнях рассказывалось обо всем, что мог сотворить народный талант в думе своей и заботе, чтобы щедро земля родила, чтоб урожаем полнились сады, чтоб тесно было худобине в хлевах и чтоб виноградное вино играло солнцем... Пели еще про парубков и про дивчат на выданье. Про хозяина и про хозяйку... И словно на распахнутых крылах фантазии летели все мы прочь из будней далеко-далеко... В неведомые до того миры. Больше всего тревожило воображение зеленое садовое вино. Нет, оно, конечно, вовсе непохоже было на то, червонное, что принуждал попробовать нанашко. Казалось, оно каким-то сказочным, сладким и ароматным — как-то весною мама принесла нам из села винограду. И так хотелось знать, как цветет он, как растет и набирает силы. Шутка ли про все это дознаться, коли на Верховине сроду винограда не садили.

Когда мальчики отпели все песни, учительница задумалась. И в классе было тихо, так тихо. Она поднялась, прошлась между скамеек и сперва медленно, как будто собираясь с мыслями, начала нам говорить про народные обычаи и красоту их, про богатство выдумки и великую чистоту. Она говорила нам про песни и про сказки, про чудодейственное волшебство родного языка и всего, что есть родного и прекрасного на земле наших отцов. Мы слушали с восторгом, и нам уже было жаль того, кто не научился любить родную землю, кто пренебрег и позабыл язык дедов и прадедов и понесло его в чужие холодные края... И наша верховинская земля с полонинами и горными реками, с родным селом да околицами его казалось нам действительно неповторимой и самой дорогой на свете. Все нами принималось таким, каким нарисовала в тот день наша учительница, открывшая нам целый мир великого и светлого. И мы уже гордились своим родным краем и чувствовали себя такими богатыми-богатыми.

Минули годы. Минуло много лет. А я все люблю ее, мою первую учительницу Иолану Тымкович, тем же детским восторженным чувством. У меня к ней целый океан нежности и чувства благодарности... За все, за все прекрасное, что нам так щедро она дарила и что нам открывала... И за то памятное сентябрьское утро с молодым по-весеннему солнцем.

БОТИНКИ

Не башмаки запомнились, а постолы... Простые, резиновые постолы, что мастерил в нашем селе немец Ирман.

Батько сидит на скамеечке и деловито выбирает из целой кучи связанных по паре постолов. При отборе принимается в расчет то, что я буду еще расти и чтобы в зиму было ногам тепло. Стало быть, надо покупать побольше.

И вот уже в постолах осенним днем иду я в школу. Постолы что лодки — длинны и широки. Ноги обмотаны толстыми шерстяными онучами поверх хлопчатых, обувь привязана к ноге обуванками — длинными черными ремешками, перевитыми под самые коленки. Разбойник, да и только! Ни мороз, ни снег тебе не страшен... Мягко, легко... А все ж таки. Все ж таки мечтою мамы были не постолы, а башмаки. Добротно сшитые сапожником, из добротной кожи... Вот потому-то, идя домой из школы, мы с завистью поглядывали на великанский, из жести вырезанный и раскрашенный башмачок, болтавшийся на проволоке, как приманка, у сапожника перед дверью маленькой мастерской.

Но жестяной башмак поскрипывал себе, а мы ходили в проклятых резиновых постолах. Говорю «проклятых» не потому, что затаил на них злость и обиду, что допекли и доняли они меня. Не знаю, где ж еще на всем великом белом свете носили такие резиновые постолы? Сдается мне, что тут у нашего Ирмана не было ни завистника, ни конкурента на патент выделывать резиновые постолы. Кстати, к слову скажу, что не одно Дубовое обувало их в тридцатые годы. Может, где-нибудь и кто-нибудь на тех постолах и разжился, разбогател, наш Ирман — нет. Вот было бедное время!

А все-таки и башмаки запомнились мне.

Из тех мест в Чехии, где батько был на заработках, пришло домой письмо. Прочитала его мама и вся засветилась от радости. Прижала нас к себе, словно должно было случиться что-то большое.

— Слушайте, детки, что вам тату пишет, — призвала она нас к вниманию и начала читать. Может, она думала, что так придет к нам самая большая, взаправдашняя радость, что так мы вроде сами поговорим с от-

цом: — «Пишу тебе, что собрался до дому Петро Багай. Посылаю с ним для хлопцев бокончи (грубые башмаки). Только пускай берегут их, по грязи не ходят, чтобы послужили им долго — ты-то знаешь, как тяжело и горько заработать грош...»

Дальше она уже не читала. Может, что-то сдавило горло, а может, дальше все только для нее было написано. Но напутственно и поучая промолвила спустя минутку, не выпуская нас из своих объятий: — Молитесь за тату, чтоб здоров был, да чтобы дороги его счастливы были...

С того дня мы уже не могли дождаться, когда наконец заявится в Дубовое благодетель Петро Багай. Тот самый, который взялся доставить нам овеянные мечтами башмаки.

День настал. Багай вернулся. Да только без башмаков. Явился в нашу хату на околице зеленого села с пустыми руками. Сидел на длинной лавке под стеной и что-то мямлил про то, как прикорнул дорогою... А тут какой-то лиходей подкрался, разрезал полотняную суму да наши башмаки и вытащил... Мы слушали и онемело глядели на долговязого, небритого, такого неприветливого к нам Петра Багая. В хате он после этих вестей не задержался, пошел себе. А мы с мамой долго еще сидели молча и не знали, что и сказать.

Из немой тишины нас вывела соседка. Пришла, наверно, для того, чтобы маму выслушать и поделить с нами наше несчастье. Слушала, слушала соседка, а потом вдруг как холодной водой нас окатила:

— А ты, милая, так и поверила, что Багай сказал тебе святую правдушку?

— Да как же не поверить, коли ему и суму разрезали? — Мама никак не могла согласиться с соседкой.

— То-то и оно, что Багай те башмачонки продал, а суму разрезал, чтоб свалить на вора и знак иметь... Эге! Багаев батько, коли овец пас, заколол одну — мяса ему на полонине захотелось. Так он рога с копытами оставил на знак, что волки ее задрали... Э, яблочко от яблони... каков корень — таково и семя, — убеждала соседка маму.

Мы ничего не понимали. Одно нам оставалось: резиновые постолы да сны про башмаки от батьки. Правда, мама подошла к нам, погладила и молвила:

— Не печальтесь. Только б наш батько здоров был... Он вам башмаки купит... Еще лучше будут...

Так оно и вправду сталось.

В годы самой большой нужды на Верховине из Чехии и Моравии присылали в школу помощь — ношеную одежду и обувь, белье, карандаши, тетради... Это была так называемая акция помощи бедным ученикам Закарпатья.

В наш класс внесли целую груду одежд и башмаков. Сложили все эти сокровища на пол, и учитель принялся разглядывать учеников, будто прикидывал, кто ж из сельских дивчат да хлопчиков всех хуже одет-обут и что кому лучше придется. Я на последней скамейке потупил голову, ничего не ждал и ни на что не обращал внимание. Были и победнее меня.

— А-ну, Иванко, поди сюда! — вдруг позвал меня учитель.

Недоверчиво я поднялся, пошел к столу. Учитель уже держал добротные из красной жесткой кожи башмаки, как держат тяжело добытое драгоценное сокровище или трофей.

— Это будет тебе! Возьми! Вот тут к ним и носки! — Из кучи разной мелочи учитель взял теплые синие носки.

Дома башмаки пошли по рукам, все любовались, восхищались ими, хвалили за прочность, добрым словом поминали учителя. Особенно тут ценилось его внимание...

После того как все в подробностях обговорили, взялся я примерять обувку — такова была воля всех. Стало очевидно, что с тонкими синими носками башмаки будут велики. Нашли на печке домашние капчуры. Но и их было недостаточно, чтобы обувь держалась на ноге.

— Может, еще и онучами ноги обмотать? — подал кто-то совет.

Но все быстро сошлись на том, что надевать онучи к таким шикарным башмакам смех да и только. Пошутили, поговорили, батько веско, со значением промолвил:

— Не беда, сынку, что велики. Вырастешь да и пойдешь в них пан паном. А теперь чего ж их портить — только порвутся даром, раз не по ноге тебе.

Так на том и порешили.

Башмаки были поставлены на полку, шедшую по-над

дверьми и окном, до самого угла. На ту самую полку, что служила нам в хате для всякого-разного хозяйственного инвентаря: молотков и гвоздей, маминых спиц для вязания, клубков и ниток.

По утрам, чуть только открыв глаза, прежде всего я смотрел на полку: там ли башмаки?

А они стоят чинно-дружно, ну что владетельные князья.

Каждую неделю с них непременно смахивали пыль, чтобы, не дай бог, не разъела кожу, в них наталкивали тряпок, чтобы не покоробились...

ГИМНАЗИЯ

Радость пришла!

Только день блеснул, я уже поднялся. Еще и не умылся, а снял уже с полки башмаки. Сегодня им выпала такая большая честь! В них я должен отправиться в Хуст для сдачи вступительных экзаменов в гимназию.

Как-то удивительно не подходили мне добротные эти башмаки. В белой конопляной сорочке, в таких же штанах с очкулом на поясе, шитых руками моей мамы, и в фабричных башмаках. Но беды в этом особой не было. Вот поступлю в гимназию, пойду на лето пасти дедовых коров, а там уж сам заработаю себе на одежку.

Довольно долго простояли мы с мамой под хатой отца Ивана: оба сына его, Константин и Володя, тоже поступали в гимназию.

Когда поповские сыновья встали, нас пригласили в хату, чтобы немножко обогреться, — накануне прошел дождь, ночь была холодная, а мама стояла на улице босая. Как только попадья заметила, в каком я «наряде», нашла синий пиджачок и дала примерить. Пиджачок жал в плечах, рукава были коротковаты.

— Придешь с экзамена, занесешь. Еще мои меньшие поносят...

Дорога из родного села казалась далекой. Лазоревые дали по-над родным селом тонули в голубой дымке...

Хуст вырисовывался перед нами развалинами старинного замка на горе. Чем ближе мы подъезжали к городу, тем большим становился каменный монумент-великан. Самый первый мой город манил к себе и пугал. Каменные дома, мощеная улица и большие, заваленные товарами витрины лавочек, запахи из продовольствен-

ных магазинов и лавочек для продажи так называемых колониальных товаров — лимонов и фиников, бананов и ананасов — все было для меня загадочным.

Сколько экзаменов пришлось держать мне в жизни до поступления в гимназию? Сказать по правде, немало было. Вот главные: забраться выше всех на дикую черешню, переплыть Тересву, как можно дольше продержаться под водой, усидеть на коне, пройти вечером близ кладбища... Но теперь мне предстоял самый трудный, самый главный экзамен.

И вот уже я стою в коридоре, который переполнен детворой. В конце коридора появляется молодой, но на диво рано поседевший учитель со списком принятых в первый класс. В этом списке было и мое имя...

СОДЕРЖАНИЕ

Чендей И. М.

Ч-43 Сказка белого инея: Повести. Пер. с укр. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 220 с., ил.

В пер.: 1 р. 10 к. 65 000 экз.

В новую книгу писателя из Закарпатья Ивана Чендея вошли лирические повести, воссоздающие облик современного сельского жителя Верховины — труженика и созидателя. Все три повести объединены темой любви к родному краю, земле, человеку.

Ч $\frac{4702590200-139}{078(02)-84}$ 111—84

ББК84Ук7
С(Укр)2

ИБ № 3756

Иван Михайлович Чендей
СКАЗКА БЕЛОГО ИНЕЯ

Редактор В. Пелнхов
Художиик А. Добрицын
Художествениый редактор А. Романова
Техиический редактор Н. Носова
Корректоры Н. Мейланд, И. Тарасова

Сдано в набор 16.01.84. Подпнсано в печать 19.04.84. А00689
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тнпографская № 2. Гарнитура «Литературиая». Печать высокая. Услови. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 11,76. Учетно-нзд. л. 12,1. Тираж 65 000 экз. Цеиа 1 р. 10 к. Зак. 2251.

Типографня ордена Трудового Красного Знаменн нздательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства н типографнн: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В 1983 ГОДУ ВЫШЛИ КНИГИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ:

М. Анчаров.
Дорога через хаос. Роман и повести.

Г. Баженов.
Пространство и время. Повести и рассказы.

В. Бешлягэ.
Боль (перевод с молдавского). Роман.

Ю. Бондарев.
Мгновения.

Б. Василевский.
Отчет. Рассказы.

И. Друцэ.
Белая Церковь. Бремя нашей доброты. Романы.

Т. Джумагельдыев.
Дашрабат, крепость моя (перевод с туркменского). Роман.

С. Залыгин.
Рассказы от первого лица. Рассказы.

В. Кондрашов.
Небо выбирает нас. Повести.

Р. Киреев.
Подготовительная тетрадь. Роман.

Л. Корнюшин.
Отчая земля. Роман.

А. Кривоносов.
По поздней дороге. Повести.

Р. Коваленко.
Хоровод. Рассказы.

А. Кикиадзе.
Брод через Арагоа. Роман.

Г. Коновалов.
Былинка в поле. Роман, повесть, рассказы.

В. Косихин.
Последний рейс. Повести.

И. Меньшиков.
Горящее сердце Данко. Повесть и рассказы.

Г. Марков.
Грядущему веку. Роман.

В. Петров.
Хрустальный глобус. Повести.

Ш. Рашидов.
Веление сердца (авторизованный перевод с узбекского). **Повесть.**

Родины солдаты.
Сборник. Повести и рассказы.

А. Туницкий.
Жители нового дома. Повести.

И. Уханов.
Эти редкие свидания. Повести и рассказы.

Д. Холендро.
Плавни. Повесть и рассказы.

Н. Черкашин.
Лампа бегущей волны. Повести и рассказы.

В. Чивилихин.
По городам и весям. Путешествия в природу. Рассказы.

А. Шишкин.
Преодоление. Повести.



сть.